

Александр Кабаков

# СОЧИНИТЕЛЬ



**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.****ВЕСНА — ЛЕТО****1**

Всегда хотелось начать с описания сумерек в Москве.

Едешь откуда-нибудь в такси, небо приобретает любимый сиреневый цвет, машина взлетает и падает, по набережным выстраиваются микрорайоны, и, по мере приближения к центру, впереди все гуще светят хвостовые огни других машин, и эта толпа красных огней, все более плотная, дружно, словно стадо с тяжкими подсвеченными задницами, сворачивает, несется, толкается, останавливается перед дальним светофором, такси нагоняет остановившихся, въезжает в толпу, которая тут же распадается на нормальные отдельные машины, справа кавказец раздраженно-бессмысленно постукивает по баранке отчаянно украшенной «Волги», слева одинокая девушка предлагает набор жизненных тайн для разгадывания и погружения, без аффектации, но и не простодушно держа руль «шестерки», небо через темную красноту переходит в синее — и все разъезжаются по переулкам вокруг Пушкинской и Маяковки и пристают к темным тротуарам — приплыли.

Эта картина полна, если сквозь нее просвечивает воспоминание о только что оставленном явлении любви.

Женщина, уже ставшая обычной приличной пассажиркой другого автомобиля, подъезжает тем временем к своему дому. Вполне тщательно одетая, подкрашенная, снабженная сумкой с купленным за день, с серьезным и твердым выражением лица входит в полуразрушенный подъезд. Поднимается в нечистом и узком лифте, открывает дверь своими ключами, повесив сумку на предплечье. Переодевается сразу в ночную рубашку и халат, немного короче рубашки, и двигается по кухне, чтобы приготовить слишком поздний и слишком плотный ужин.

А полтора часа назад она была той, которую и вспоминаешь в сиреневых, быстро синееющих сумерках, полных красными хвостовыми огнями. Она лежала поперек чужой кровати, хвастаясь загаром предосеннего отпуска и своей всегдашней бурной и быстрой реакцией на любовь, горячим и неудержимым истечением жажды. Я мокрая, — радостно и гордо повторяла она с легким полувопросом. — Я мокрая, это хорошо или плохо? Конечно, хорошо, разве ты не видишь, не чувствуешь, разве ты не знаешь, я ведь сто раз говорил, что я это люблю больше всего в тебе, что ты намокаешь сразу и тебя уже ничем не просушишь, ты неиссыхаема. Это тебе хорошо или вообще хорошо? Что значит — вообще? Я тебя спрашиваю! С кем это еще вообще? Ну-ка, расскажи, расскажи... Ну, перестань, ты же знаешь, никто никогда так... Хочешь, поклянусь? Не смей клясться... Ладно, но ты же правда знаешь... Знаю. Молчи. Молчу. Выше, ляг выше. Так? Так, так. Боже мой, я люблю тебя. Я люблю тебя. Люблю. Ноги. Так. Боже мой, люблю, люблю тебя. О Господи, прости меня, люблю, люблю. О нет. Нет. Ну вот. Вот. Вот.

Но через это все — как она ходит, одеваясь, уходит в чужую ванную, берет чужой стакан, открывает чужой кран, стоит с сумками на краю тротуара, садится, втаскивает сумки и полу плаща в такси, уезжает, оставаясь в памяти на сутки-двое лежащей поперек чужой кровати, — сквозь это все и сквозь сиренево-синие сумерки проступает третьей экспозицией неизбывающий сюжет. Точнее, самое начало сюжета, завязочка, а

дальше от каждого из узелков — след. Словно тот, что остается на фотографиях с большой выдержкой от выступов и углов промчавшегося автомобиля или любого другого быстро движущегося предмета. Смазанные, расширяющиеся и размывающиеся полосы. Сюжет — Боже, дай мне додумать Сюжет!

## БАЛЕАРЫ. ИЮНЬ

— Sergei, I wanna just now... Sergei, well, now, I said, come on... Let's go... fucking... Sergei! «Здесь и далее персонажи пользуются странным английским, что в конце концов получит объяснение»

— Ну, блядь, когда же ты от меня отвалишь! — сказал Сергей громко, глядя прямо перед собой на дорогу. Голос Юльки доносился из глубины комнаты, не заглушаемый даже треском моторов. Так же просто через час она будет требовать еды.

По дороге примерно раз в полчаса проносились компанией в пять-шесть машин веселые ребята в джипах «судзуки-сантана». Какая-то фирма удачно придумала эти экскурсии по острову для богатых юных остолопов, готовых арендовать тридцатитысячедолларовую машину. Выложить несколько тысяч песет, чтобы промчатся под июньским белым солнцем, в пыли, вцепившись в толстую трубчатую раму, торчащую над кургузым кузовом, в цветастых шортах, в драных майках, в бейсбольных шапках козырьками назад, с девками, не напоказ, а, видно, вправду забывшими, что титьки, трясущиеся под майками, — это отличие пола, а не просто так.

Сергей ненавидел этих говнюков. Ненавидел в одном ряду с сухим, высоким, платинового цвета солнцем; с небом, появление облаков на котором непредставимо; с белой чистой пылью, не пачкающей тело и одежду; с легким воздухом, как бы лишаящим человека части веса; с морем, в котором видны камни и раковины на четырехметровой глубине; с лесистыми скалами и обрывами к воде, похожими на декорации к костюмному фильму; с террасами, по которым бродят, брякая колоколами, бараны в ватном меху; с петляющими дорогами, где все разъезжаются и разъезжаются джипы, и автобусы, и «сеаты», и фургоны «вольво», и бетоновозы с крутящимися косыми трехтонными кувшинами, идущие к строительству очередной виллы... Разъезжаются на горной дороге метра три в ширину — и ни одна зараза не заденет другую, не чиркнет по крылу, не закрутятся колеса над пустотой, не затрещат деревья и ограды террас под кувыркающимся через раму, расшвыривая цветастые шорты и майки, джипом...

Здесь, на ближней к Пальме окраине деревни Эстаенч, у прошивающей деревню трансостровной дороги, Сергей снимал номерок в двенадцатикомнатном пансионе уже не то десять месяцев, не то сто лет. Он точно знал, что этот остров — лучшее место на земле, лучше не то чтобы не бывает, а и не должно быть. И он ненавидел это место так, что внутри все заходило и в глазах темнело.

Юльку он ненавидел еще больше.

— Серг'эй, ну, ти, старая жоп'а. — Юлька перешла на русский, Сергея

передернуло. — Езли твой уже не зтоит, скажи чесьтный. Old bloody abstinent.

— Я тебе, падла черная, — пробормотал Сергей, разбирая шторы, чтобы вернуться с балкона в комнату, — сейчас дам абстинента...

Юлька валялась на кровати — почти прямо на матрасе, большая часть простыни съехала и лежала на полу из искусственного, прохладного только на вид мрамора. На пол же были брошены толстый, развалившийся на две части номер «Космополитена», Юлькины черные джинсы и ее же, не по размеру широкая, белая майка с желтым кругом и надписью «Hard Rock. London». Бессмысленность, которую видел Сергей в этой надписи, приводила его в бешенство.

Он остановился у кровати. Солнце процеживалось в комнату сквозь кирпично-красные шторы и жалюзи на створках окон по сторонам балконной двери. Бордельный свет от штор наполнял комнату, но кровать стояла у дальней стены, и здесь освещение было уже не красным, а скорее лиловым, цвета сливы или кровоподтека. В таком освещении Юлька выглядела лучше всего — потому, а не только по лени, вечно здесь, на кровати, и пребывала. Кожа блестела темным золотом, цепочка на щиколотке посверкивала золотом светлым, глаза, черно-золотые в голубом, чуть покрасневшем обрамлении белка, отражали какие-то дальние, невидимые огни, и черно-коричневые кудри вокруг головы и под животом дымились. Одну ногу она согнула в колене и поставила ступню на полусъехавшую простыню, другую закинула на колено согнутой и покачивала, подрагивала цепочкой на щиколотке в такт вондеровскому, никогда не надоедавшему «I just call to say I love you». Батарейки сели, и маленькие колонки плеера хрипели едва слышно и с подвывом, но Юльке это было все равно. Цепочка вздрагивала, волосы дымились, лиловый свет сгущался к подушке, и невидимые огни отражались в глазах.

— Come on, — сказала Юлька. — Come on, Серг'эй, хоч'ю, трахни меня... Honey... Do it, honey.

Сергей стащил длинные шорты, одна штанина у них была розовая, другая желтая, Юлька когда-то купила их в Пальме, это уродство. Но старые английские военные, купленные еще на Клиньянкуре, давно разодрались полностью, и пришлось натянуть клоунские — модные. Юлька была от них в восторге. Сергей стащил шорты и стянул с ног зеленые альпагаты с примятыми задниками.

— Держись, зараза, — прошипел он сквозь зубы и повалился, вцепился в нее, в потный ее загривок под этими проклятыми дымящимися кудрями, уперся, стирая локти о жесткую обивку матраса, саданул изо всех сил, словно убивая ее, да и вправду желая убить, растереть, уничтожить, обратить в ничто, снова саданул, уже ткнувшись лицом в подушку, забивая рот волосами, хрипя, — держись, я убью тебя... убью...

— Oh, yes, — она запела свое всегдашнее, — oh, yes, yes, yes... fuck me, fuck me... oh, yes, yes, yes...

Красное, лиловое, золото, дым. Сергей поднял лицо. Юлька лежала, крепко зажмурившись, ему так и не удалось приучить ее держать глаза открытыми, она взвизгивала все громче и при этом скалилась, обнажая и зубы, и десны, и он уже знал, что сейчас будет, приготовился, напрягся, упершись в матрас выпрямленными руками, — и она извернулась, мгновенно стекла, съехала вниз, а он, выгнувшись, тут же почувствовал чуть-чуть, не больно сжавшиеся зубы и язык, двинувшийся по кругу.

Красное, лиловое, золото, дым. Сергей застонал, взлетел над нею — и рухнул рядом на спину.

Тут же дверь номера открылась, и вошли двое. Сергей узнал в них русских немедленно — хотя никаких русских здесь не было и быть не могло.

## 2

Обязательно привяжутся к тому, что она черная. Будь она брюнеткой, рыжей, хоть зеленоволосой — это стерпела бы любая, но черная кожа будет слишком сильной метой, все начнут ломать голову еще при чтении, а потом кто-нибудь и прямо спросит. Мол, это кто же? Где же? Откуда такой опыт по части дымящихся негритянских волос?..

И, конечно, не миновать обиженного, повернутого внутрь взгляда, молчания, потом слез, тихо ползущих от уголков глаз вдоль носа красивыми каплями и расплывающихся в бесформенную мокроту в складке возле рта. Никогда не поверю, теперь я уже точно знаю, что у тебя с нею роман все это время. У тебя-то сил не хватит? А то я не знаю тебя, это ты кому-нибудь рассказывай насчет сил, а не мне. Потом слезы все-таки высохнут, только останется обиженное выражение, а глаза уже просияют. Не пиши больше такого, ладно? Мне от этого ущерб. Ишь ты, будет каких-то черных расписывать и воображать их в постели! Меня воображай... Это и есть ты, везде ты, только я придумываю разные воплощения тебя — какие могу вообразить... А, значит, ее ты можешь вообразить? Значит — было! Да не было, если б было, я бы тебе сказал, я же тебе все рассказал, что было... И что помню... «Помню!» Ты бабник, я тебя ненавижу. А я тебя люблю. Правда? Правда, и ты сама знаешь, а ты меня любишь? Любишь — любишь. Скажи так еще раз. Как? Скажи «любишь — любишь». Любишь — любишь. Еще. Любишь — любишь. Еще. Любишь — любишь, а ты уже опять? Да. Опять можешь? Я всегда могу с тобой, помнишь, в Риге мы оба уже спали, а я мог еще и во сне. Скорей, ну, скорей. У нас с тобой никогда не будет революции. Почему? Потому что у нас верхи всегда могут, а низы всегда хотят. Ты болтун. Я молчу. Нет, говори, говори что-нибудь. Потом. Потом. Говори. Говори. Я говорю, я люблю тебя. Люблю. Девочка, милая, солнышко, люблю тебя. Говори. Люблю. Говори, говори. Люблю, люблю.

У себя дома она такая же, как в пыльной полузаброшенной мастерской, ей не мешают тени и следы домашних, все время лезущие в глаза, женщины устроены куда проще, смотрят на адюльтер трезвее, однажды она сформулировала это раз и навсегда — ведь никому никакого ущерба, если никто ничего не знает, значит, надо только, чтобы никто ничего не знал, надо все устроить, продумать и ничего не бояться.

За окнами, наверное, день, солнечно, микрорайон пуст, только бредет по школьному двору пацан-прогульщик, да сквозняки гуляют в проемах, устроенных будто специально для сквозняков посередине нескончаемо длинных домов. Теплый Стан полон сквозняков, ветры пробирают Теплый Стан до самых его панельных костей и упираются в лес, стоящий на задворках детского комбината. Смешное название, будто именно здесь делают детей. А их сюда отдают уже сделанных, а

делают вокруг, в ячейках этих несчетных крольчатников, ночами, после телевизионных новостей или видеофильмов. Видео за последние пару лет наполнило крольчатники, как лет десять назад стерео. Некоторые успевают и утром, потом, правда, приходится очень спешить к метро, наверстывая пятнадцать потерянных минут, или психовать у светофоров, постукивая по тонкой, нищей баранке «жигуля». Сейчас день, только здесь, за шторами, время неопределенно, как неопределенна, ненормальна ситуация. Эта клетка крольчатника не в порядке, здесь ночь не вовремя и страсть не по телепрограмме, а за окнами Теплый Стан пуст, только сквозняки и солнце...

Понимаешь, там, на этом острове, обязательно должна быть чернокожая, с золотой цепочкой на щиколотке, ленивая, распущенная, научившаяся по-русски только мату, абсолютно безудержная в постели, это ты же, только цвет другой и судьба соответствующая. Но ты была бы такой же, если б в семнадцать лет сбежала из своей айдахской или канзасской глуши, от родителей, верующих в телепроповедников еще сильнее, чем в Бога, — и пошла шляться по Европе, и на Бобуре, полной клоунов и безумцев, бродяг и международной шпаны площади, косо лежащей у похожего на корабельный дизель центра Помпиду, встретила бы русского. Отец — офицер-десантник, брат — офицер-десантник, рязанское училище, кроссы, кроссы, кроссы, каратэ, стрельбы, стрельбы, стрельбы, Кабул, Кандагар, Герат, гашиш, гашиш, гашиш, удар прикладом, к счастью, через подшлемник, выше шеи, плен, Пешавар, деревня под Цюрихом, Квебек, Мюнхен, Париж...

На Майорке, на богатом пляже Форmentor, где бродят по сверкающему белому песку богатые немки, шведки и американки с лицами тридцатилетних, подтянутыми титьками на хорошие сорок и узловатыми коленями, выдающими настоящие шестьдесят, он пристроился. Носил за такой красавицей шезлонги и полотенца, натирал ее сухую и тонкую, сплошь в рыжих веснушках кожу английским кремом, кидал в воде огромный мяч, приносил пол-литровые серые банки пива «Хенингер», которое она пила, чередуя с вином, как франкфуртский вокзальный алкаш. Бродил по пляжу в длинных и широких шортах, выцветшие добела волосы были собраны сзади в косицу, в левом ухе болталась серьга — все, как положено здешнему жиголо. А вечером надевал черный шелковый пиджак, подвертывал рукава — бабам очень нравилась эта мода, открывающая мощь волосатых рук, на правом запястье брякал браслет, на левом — два, цепочки блестели на шее, выделяясь на красно-бурой коже вечно загорелого блондина... И шли танцевать, он плотно прижимал мягкий живот и туго упакованную грудь, прижавшись, крутили задницами под суперхит сезона, гремящий круглые сутки по всему миру. Потом он гладил как бы ничем не наполненную кожу,двигающуюся под руками, словно шелковистый полупустой пакетик из супермаркета, более или менее профессионально стонал, воспроизводя страсть и бдительно следя, чтобы она, взревев, не вцепилась ногтями, — потом же сама будет на пляже смущаться — и, переждав минуту-другую после того, как она кончала орать и дергаться, бурно демонстрировал собственные судороги. Через полчаса, приняв душ в ванной, жарко блистающей медными кранами и черным кафелем, выпив стаканчик «Гленфиддиша», дивного виски, которым, с учетом его вкусов, всегда был полон бар в номере, он целовал усталую старушку, наивно делавшую вид, что уснула, садился в приличенький «остин», подаренный ее предшественницей, совершенно потрясенной русской мощью и размахом, — и ехал к



Юльке.

Тогда они жили в Пойенсе, вскрыв брошенный каменный сарай на запущенном винограднике. Юлька возвращалась иногда чуть раньше его, иногда на рассвете, с дороги раздавался рев тормозящего БМВ или «сааб», хамски громкий немецкий или шведский гогот — и она появлялась, на ходу стягивая черную блестящую юбчонку и развязывая золотистую косынку, которой обматывала минимум верхней части тела, швыряла эту свою ночную спецовку на стоящий посреди сарая резной ларь, притараненный Сергеем с придорожной свалки, и через десять минут они оба уже хрипели в смертельной, на истребление, войне, начавшейся еще в Париже, да так и не кончающейся. Тонкими, но удивительно сильными ногами она упиралась ему в грудь и шипела: «No... You can't do something... You can't... no... oh... yes, yes, yes... do it... fuck me, you, Russian bastard, do try...»

Оба побаивались эйдса «AIDS — СПИД (англ.)», но делали, что могли: она — ртом, не давая опомниться изумленному баварцу или фламандцу и вытащить из памяти все остальные картинки в детстве изученных руководств, а он — старательно организуя ситуацию, в которой затисканная, зацелованная до темных синяков бабка не замечала или считала приличным не заметить его недолгой сноровистой возни с супернадёжным, электронно испытанным изделием сингапурского индустриального чуда.

...Из сарая их выгнала полиция, наведенная перепуганными соседями-индусами. Никак они не могли привыкнуть к Юлькиной манере идти утром в деревенский магазин по-пляжному. Почему-то вблизи моря вид голых сисек их не шокировал, по Форментору уже и пятидесятилетние бродили, размахивая и шлепая своими пустыми останками, а в лавке их, видите ли, это коробило. Если б не Юлькин паспорт с орлом — могло бы кончиться и хуже.

Но денежки уже поднакопились. В то утро Сергей заехал попрощаться с милой подругой — благо ей подошло время переезжать на очередной месяц в Дубровник. Юлька ждала в машине, матеря на двух языках индусов, испанцев, немцев и прочих дикарей. Сергей расцеловался, искренне пожелав мамаше веселой любви с сербскими коллегами, шагнул к двери, глянул на расписную ацтекскую сумочку, валявшуюся на полу, — и поднял ее, посмотрел хозяйке в глаза. Наполненные светлыми старческими слезами глаза мигнули, дама закивала: «Si, si... moneda... si, Serhio... si...» Она всегда почему-то говорила с ним, собирая свой десяток испанских слов, говорить с русским по-английски или тем более по-немецки ей казалось странным. Сергей раскрыл сумку и из свалки банковских карточек, узких крон, мятых рыжих пятидесятимарковых бумажек вытащил серо-зеленые, узкие и длинные доллары, будто специально для него туго свернутые в толстую трубку, перехваченную желтой резинкой. Она кивнула еще раз, уже не так уверенно. Сергей сунул деньги во вздувшийся задний карман шортов и вышел.

В Эстаенче они бездельничали, ругались и трахались. К осени собирались в Лондон — еще в марте один малый предлагал Сергею место гарда в какой-то пакистанской конторе, контора была не слишком чистая, наверняка приторговывали и оружием, и гарду обещали платить прилично.

...Был июнь, над Майоркой бесновалось, выжигая мысли, солнце. Когда они вошли, Сергей удивился, почему он понял все и сразу. Тот, что стоял справа,

наверняка и сам прошел через Афган, может, даже прапор. Левый был похож на комсомольского вожака — обрюзгло-бабье лицо бывшего мальчика, причесан старательно, чуть на уши, и воротничок рубашки аккуратно отложен. Сергей опустил руку — на полу с его стороны, рядом с кроватью, всегда лежал нож, мощное оружие *marines*, черный широкий клинок и ручка в кожаных кольцах, ровно и тяжело, как снаряд, летящий нож со странным названием «Ка-Ваг». Тот, что стоял справа, поднял руку с короткоствольной «коброй». «Не дергайся, Серега, — сказал он, — я не тебя, а девку, если что, мочить буду».

Ты все придумываешь, как в американском кино. Ну и что, разве не интересно? Интересно, но не похоже на правду. Если будет похоже, ты не будешь слушать, и потом у нас ничего не получится. А так немного отдохнем — и снова... Разве плохо? Хорошо. Ну, рассказывай, рассказывай... И вот еще что я хочу тебе объяснить: это на нашу жизнь не похоже, на твою и мою. Так ведь мы же не такие, я не жиголо, а сочинитель московский, и ты не черная бродяжка, а мирная дикторша, царица перестроечного эфира, здравствуйте, дорогие телезрители, сегодня на съезде народных депутатов... Но уже и здесь, рядом с нами, живут другие люди, в кооперативных обжорках стреляют из автоматов, в роще у Лобни вешают на деревьях и мозжат голени монтировками, лубяньские специалисты готовят автокатастрофы — что же ты можешь представить себе про ту жизнь, где жара, белое небо без облачка и свобода? Поверь, там все покруче... Да ладно, не заводись, рассказывай, рассказывай... Уже не хочу. Лучше иди сюда... Вот так. Так лучше. Вот. Хорошо.

## МЮНХЕН. МАЙ

Дождь прошел, между плитами велосипедной дорожки, отделенной от тротуара свеженакрашенной белой полосой, еще стояла влажная чернота. Двадцатый трамвай, чуть громыхнув, пересек Принцрегентенштрассе и понесся вдоль низкой ограды Энгелишгартена.

По широкой аллее, идущей в парке параллельно улице с трамвайными рельсами, он привычно спешил, треща косыми каблуками ковбойских сапог по мокрому серому гравию. Ветер еще был не летний, прохладный, на ходу он поймал и застегнул молнию черной кожаной куртки, мысленно обругал свою модную прическу, выстриженные виски — холодно же, мать бы их с ихней модой!

Так и не привык он после родной своей Харьковщины к холоду. Ни к страшным, проклятым, срезающим любой открытый выступ — хоть палец, хоть нос — ветрам, полировавшим палубу в Северной Атлантике, ни к ледяной мороси норвежской осени, когда, голодный до кругов в глазах, шатался он бессмысленно по Гренсен, сворачивал на Акерсгата, и чистые грубоносые норвежцы сторонились колеблющейся, неверно шагающей фигуры, ни к сырости здесь, в сравнительно теплой — а все ж не Украина! — Баварии.

И остался вечным ужасом тот, последний, разрушающий холод черной жирной воды между черными, уходящими в черное небо стенами бортов, когда он плыл, и плыл, и плыл, с эквадорского рефрижератора на весь порт грохотала музыка, на причалах сияли слезливые огни, и он плыл, делая перед самим собой вид, что не



замечает, как теряет дыхание...

Он перешел по короткому мостику над бурно, по-театральному несущейся водой и вышел к станции, пошел вдоль забора. На противоположной стороне улицы жались одна к другой машины сотрудников. Как повезло все же, подумал он, что среди этих приличных, хорошо образованных, серьезных людей нашлось место. Кто он такой, в сущности, какой из него оператор? Два года возился с убогими пультами непрофессиональной советской рок-группы, да три года службы... Беглый корабельный радист, вот и вся профессия. Диплом нужен, диплом, а то выпрут со станции — и конец...

За воротами, миновав будку охранника, который ему кивнул и даже подмигнул — мол, опять без мотоцикла, значит, вечером по пиву, как-то они потрепались немного с этим немцем, — он поднялся на низкое крыльцо, прошел мимо еще одного охранника, не останавливаясь, поскольку тот проверял только сумки, — и тут из-за стеклянной двери ему замахал Глебка из украинской службы, выскочил навстречу:

— Слухай, тоби до дому потрибно зараз, понял? Ютта зазвонила, шось с хлопчиком, не зна шо...

— Шо таке? — от неожиданности и с перепугу Юра тоже перешел на мову, хотя они с Глебом обычно говорили по-русски, на чем и сдружились: и хохлы нечистопородные, и в москали не вышли, харьковчане. — Шо зробылось?

— Я знаю? — Глеб пожал плечами. — Давай зараз твоим у сэрвиси пиду скажу, а ты в такси да ехай...

Юра выскочил за ворота, на счастье, тут же тормознул такси. Пока ехал, в уме мелькало, повторяясь, Юра унд Ютта... Юра унд Ютта... Едва ли не первые слова по-немецки, которые он услышал. Они ехали в ночном грязноватом поезде, в соседнем купе турки громко спорили за картами. «Юрик?» — не поняла она его харьковского имени. «О, Юра, я, я... — И несколько раз повторила: — Юра унд Ютта, Юра унд Ютта». И вдруг погладила его по голове — сразу, в мгновение, став и матерью, и женой, и сестренкой, и любовницей — хотя еще месяц гуляли вечерами по Кауфингерштрассе, держась за ручки и даже не целуясь... А теперь не было дня, чтобы хоть раз он не подумал: лучшей семьи, чем эта немка на десять лет старше и ее тринадцатилетний пацан, для него, харьковского хулигана — «ракла», да еще и еврея, только здесь, не в России, ставшего «русским», — лучшей семьи не могло быть, хоть бы всю жизнь искал...

Он со второго раза попал ключом, и широко распахнул дверь, и крикнул: «Ютхен... Ютта...», и тут же заткнулся, почувствовав словно давно ожидаемое: ствол, прижатый к спине, к пояснице, к почкам...

— Не гаркай, — сказали ему сзади, — охолони, хлопец.

День брал резко с утра, небо прояснялось часам к одиннадцати, солнце шпарило

над Пушкинской, над средоточием новой жизни — между рекламой «кока-колы» на доме, где еще помнилась стоявшая на ротонде имперская каменная девушка, и мавзолейной очередью в «Макдональдс», котлетный остров свободы на месте еще вчерашней хулиганско-фарцовочной «Лиры». Над шизоидной тусовкой у полусгоревшей газеты, над подземным переходом, собравшим все девять кругов нового ада, заменившего рухнувший старый, над нищими, богачами, бандитами, милиционерами, железными трубчатыми переносными загородками, над очередной телегруппой, снимающей очередное безумие вечно безумной страны, — надо всем шпарило солнце и выцветало желтоватое дневное московское небо. День набирал скорость, мчался, гремел мелочью получасовых опозданий, ненадолго застывал в какой-нибудь забегаловке, делающей деньги и иллюзию сытости с помощью пирожков с чем-нибудь пока недефицитным, горячих бутербродов, скрадывающих мыльный вкус сыра, и чудовищного азербайджанского коньяка — и мчался снова к концу, к семи, когда пора тормозить, валиться на отвратительный для потной кожи шершавый палас, покрывающий старый диван, и бредить картинками, воображать слова и одежды, машины и оружие, смуглых и рыжих людей, объятия и убийства, постели и мостовые — жизнь.

Картинки плыли, звучали голоса, а придумывать между картинками связки и последовательность не было сил. Да и не важно это — как они открыли дверь, как вошли неслышно, почему впустила их женщина, как выследили, проникли в страну, подкараулили... Все это было возможно, логика не имела значения, а все детали не прорисуешь — жизни не хватит. Если описывать жизнь в темпе и с точностью самой жизни, успеешь описать только свою. И то не отвлекаясь, а лишь покрывая страницу за страницей двумя словами: «я пишу, я пишу, я пишу...» Значит, надо опускать детали, авось остальное допридумают, а твое дело — бредить картинками и записывать главные из них так, чтобы заставить прочесть, и увидеть сыроватый после дождя Мюнхен, или раскаленную каменную деревню на откосе лесистой горы, спускающемся к слепящей зелени воды, или сизую пыль, ложащуюся на лондонский тротуар под строительными лесами, загромоздившими со всех сторон Пиккадилли-серкус.

Как, уже Лондон? Ну ты даешь! Теперь уже и я ничего не понимаю: а в Лондоне-то кто? Тут нечего понимать, ты просто слушай и старайся представить себе картинку, а остальное придумай сама — кто кого находит, и как, и зачем... А потом все окажется не так! Вот и хорошо, вот и интересно, разве нет? Сочинитель. Да, сочинитель, профессиональный врун. Хороша профессия! А чем хуже другой? Вот ты лежишь себе, а я тебе картинки рисую, сказки рассказываю, а другой уже включил бы телек, осмотрел бы сессию — да спать... Другой бы не мучил, и я бы не мучилась. А разве тебе не хочется мучиться? Хочется, но не настолько, я умеренная мазохистка. Ну, расскажи, расскажи, ну, из-за чего ты сейчас мучаешься? Ты правда этого хочешь? Ну, слушай: ты уйдешь, и у тебя там будет другая жизнь. И ты там тоже будешь счастлив и добропорядочен, и будешь сидеть, чистый и благостный, и будешь записывать свои дурацкие картинки. Да, буду, а ты? А ты будешь так же сиять глазами ему, и он будет ждать тебя в машине после эфира, и перегнетя из-за руля, и ты его поцелуешь в щеку... Ведь поцелуешь же? Ну и молчи, и хватит, иди сюда, молчи.

Все так и было. День несся, рассекая все существо пополам, рвалось сердце, она стояла босиком на грязном полу, широкобедрая, сразу уменьшившаяся без туфель, с

чуть выступающим животом над светло-рыжим удлинённым островком тонких и почти не выющихся волос, надо было торопиться, стаскивая с себя одежду, а она бормотала как во сне. Вот здесь, здесь... немножко... ну немножко укуси, ладно? И теперь сбоку, пожалуйста, я хочу сама, ты мне мешаешь... не двигайся... Ее рука ползла вниз, палец прятался, она стонала все громче, закинув голову назад и чуть вбок, палец скользил все сосредоточенней и неудержимей, и надо было лежать, не двигаясь, все новые и новые толчки горячей влаги обнимали, и, наконец, мир рушился.

День преодолевал остаток дистанции, шершавый палас впивался в потную спину, и картинки плыли в сумерках, пора было ужинать, но в Москве в жару есть не хочется. Разве что сначала рюмку-другую проклятого азербайджанского...

Ты отсутствуешь, мы уже давно не разговариваем по вечерам, ты ешь с отсутствующим видом.

Надо промолчать. Все справедливо, вы все правы, но почему-то никто, никто из вас не хочет вместе со мной, сейчас, без всякой логики и пересказа предшествующего — туда, в Сюжет, который заключается в том, что самые разные и трудно представимые картинки могут вдруг оказаться связанными неразрывной, прочнейшей цепью внутри еще одной картинки, в которой — все концы и начала, вся жизнь. Как в одной давно виденной карикатуре: на руке, на пальцах, кукла, а на кукольной руке — меньшая кукла, а на ее руке — еще меньшая... Я придумываю картинку, а в той картинке люди придумывают картинки, а в тех картинках...

Только в обратном порядке. Предположим, очередная маленькая картинка как раз и может быть там, под лесами, в сизовой пыли ремонтируемого этой весной знаменитого лондонского круга.

## ЛОНДОН. АПРЕЛЬ

В это воскресенье они, как всегда, встали рано, а выбрались из дому только около полудня. Поехали в Сохо, бродили, сначала с удовольствием, а потом не без отвращения пробиваясь сквозь толпу. Посидели, взяв по кружке светлого, среди полоумных на Карнаби, поели в «Симпсоне» на Стренде, выбравшись туда заплеванными переулками и всю дорогу обсуждая, как возникла обнаруженная в одном из закоулков Сохо странная, но абсолютно грамотная русская надпись четвертьметровыми черными буквами на глухой стене: «Это нечто большее, чем судьба, — это в крови». Кто этот придурок среди немногих лондонских русских — это ведь не Нью-Йорк и не Париж, — додумавшийся до такой многозначительной бессмыслицы?

Со Стренда они повернули направо, миновали Трафальгарскую площадь. У южноафриканского посольства прыгали, колотя в барабаны и распевая всякую дурь, протестующие против апартеида, полицейский со свежестриженным затылком стоял рядом, заложив руки за спину. Шлем он снял и держал за спиной, короткие светлые волосы над загривком были мокрые от пота — жара стояла ненормальная. Внизу, у колонны, фотографировались туристы, японцы образовали идеальный групповой снимок, итальянские дети лезли на постаменты памятников и гоняли голубей. Вниз по Уайтхоллу неслись машины, из-под носа дабл-дека выворачивалась

очаровательная каракатица «Morgan», спицы мелькали в колесах.

Тут он почувствовал, что безумно дорогой и омерзительно невкусный симпсоновский обед — вечно по воскресеньям они выбирали что-нибудь несообразно дорогое и невкусное — уже дал себя знать. Они быстро, срезая углы и переходя на красный, вышли на Пиккадилли-серкус, бог плотской любви был загорожен щитами на ремонт, что-то тут натворили очередные сторонники справедливости, здания вокруг площади через одно были в лесах, на тротуаре лежал тонкий слой белой строительной пыли, и даже рекламы на знаменитом углу были будто слегка припорошены. Впрочем, ничто не мешало толпе жевать котлеты под навесом «Burger King».

Он спустился в сортир у входа в метро, прошел в кабинку, заперся, с отвращением уставился в однообразные — правда, некоторые были исполнены весьма умело — картинки и надписи, бесконечно предлагающие одно и то же. Здесь были fuck и suck в переносном смысле, в основном по адресу враждебных болельщиков, но были и в буквальном, с телефонами и адресами встреч, — заведение имело ярко выраженный гомосексуальный характер. Кто-то даже поднялся на политический уровень, создав призыв: «Gays, be proud!» Лозунг этот был написан как бы на стяге, а стяг укреплен на двух напряженных предметах, которыми, видимо, и предлагалось гордиться пидорам всех стран... Он застегнулся, туго затянул ремень.

И почувствовал, что сейчас должно произойти нечто, почувствовал так же точно, как если бы кто-то вдруг крикнул: «Внимание, капитан Олейник! Внимание!»

Дважды было с ним так. Первый раз в Анголе, когда этот голос крикнул ему прямо в ухо: «Встать! Тревога!» Он открыл глаза, но ничего не увидел — беспросветная тьма наполняла палатку, и снаружи не проникало ни лучика, облака шли густые уже неделю, вот-вот могли начаться дожди. И во тьме он услышал даже не шаги — ровный глухой гул, топот многих десятков ног по выбитой земле, и мгновенно понял, что все уже произошло и сейчас раскрашенные совершенно им не нужным маскировочным камуфляжем ребята из УНИТА заканчивают окружать каждую палатку в отдельности, следуя точным командным жестам южноафриканских инструкторов в косо примятых шляпах. «Тревога, — заорал он не вставая и, в нарушение всех инструкций, по-русски: — Тревога! К бою!» И тут же скатился с койки, пополз уже между ногами мечущихся по палатке кубинцев туда, где был оставлен взводный огнемет, схватил его, потащил ползком, рванул кверху полог палатки и саданул первую порцию косо вверх, и попал, лагерь мгновенно осветился, факелом вспыхнул малый в одних шортах, его «калашников» взлетел вверх и исчез во тьме, вопли заполнили мир реальностью, рухнул кошмар, и начался обычный, бестолковый, больше руками и зубами, чем оружием, ночной бой. Он полоснул еще раз, стараясь захватить как можно больший сектор, бросил трубу огнемета, рванул из-под корчащегося и сворачивающегося, словно сгоревшая ветка, еще одного черного его старенький «томпсон» с круглым магазином и пошел вперед, расчищая перед собой пространство веером. Он шел прямо, автомат дергался и рвался из рук, ответных выстрелов он не слышал... Вдруг он оказался на дороге. Здесь стоял Т-62, из люка высунулась голова и спросила с неистребимым кременчугским или кировоградским спокойствием, обращаясь к самой себе: «А шо ото оно стрэляе?»

...Повторилось это в Страсбурге в прошлом году. Они гуляли где-то в районе Гран-рю. Был изумительно теплый августовский вечер. С какого-то моста они

рассматривали огни в сияющих окнах дворца — потом оказалось, что это дом престарелых — на острове, людей в кафе на набережных. Из медленно ехавшего внизу, под мостом, сиреневого джипа бухала музыка — такая была в этом году у молодых по всей Европе мода: включать на полную стерео в открытой машине и гулять, надевая всех набравшей новую популярность в связи с мировым туром Тиной Тернер. Музыка на мгновение заглушила все, неистовая Тина завопила «Look me in the heart!», и тут он услышал: «Внимание, Володька, сзади справа...» Он оглянулся, одновременно положив руку Гале на плечо и отталкивая, отодвигая ее от себя. Справа по мосту подходили двое — обычные здешние пацаны, в сапогах, в кожаных куртках «перфекто», в джинсах, обтягивающих, как рейтузы. Он продолжал отодвигать от себя, отталкивать как можно дальше Галю, а сам уже шагнул им навстречу и увидел в руках у одного хорошо знакомые палки, связанные цепочкой, палки качнулись и закрутились, сливаясь в мельницу. Второй сунул руку назад под куртку и мгновенно вытащил ее с ножом, рукоятка-кастет, толстый клинок...

Он понял, что его нашли. Он был уверен, что в конце концов его найдет ГРУ или болгарские друзья по поручению Старшего Брата. Но в полиции оказалось, что ребята обознались, они искали какого-то торговца, задолжавшего поставщикам уже чуть ли не за полкило порошка. Им было велено выбить долг, больше ничего они не знали, а этот русский очень похож — тоже такой приглаженный, прилизанный, галстучки-платочки, настоящая буржуазная свинья. Кто ж его знал, что у него коричневый пояс... Он прыгнул, нунчаки очень удачно улетели сразу за перила, их оглушенный владелец поднял было руку ко лбу, на котором остался точный отпечаток каблука, — и рухнул, как бычок на арене. Второй прыгнул, низко опустил нож, парень, видно, соображал в драке, пришлось хорошо крутнуться... На мосту уже визжали, от центра пробивалась полицейская сирена, он едва не задел какую-то тетку в широких шортах и сиреновой майке, оперся на правую и после еще одного оборота нашел-таки пяткой стриженный затылок.

Счастье, что не только оружия — даже ножика перочинного при нем не было. В полиции и без того достаточно подозрительно рассматривали его бумажку, Галин немецкий паспорт и весьма холодно слушали ее объяснения на неблестящем французском...

Теперь он уже хорошо знал, что голосу надо доверять. Все-таки нашли, решил он, да и смешно было бы, если бы такой побег и все, что он здесь рассказал о доблестной рабоче-крестьянской, ему бы простили. Он вышел из кабинки спокойно. Он был вполне готов, и если они не начнут стрелять сразу, с тремя он сумеет работать на равных.

У дальней стены, у писсуаров, стоял немолодой джентльмен в темно-сером двубортном костюме, в хорошем галстуке, шелковый, вишневый, в мелкий рисунок платочек парашютиком выпирал из нагрудного кармана. Джентльмен мягко улыбнулся и механическим жестом слегка почесал мизинцем за ухом — будто прическу поправил.

— Дратся не будем, Владимир Алексеич, — сказал он. — Мы ж не мальчики здешние, чтобы в сортирах драться? Галина Александровна сейчас движется в сторону Сент-Панкрац. Может, знаете: там как раз напротив вокзала есть торговля подержанной мебелью? Не обращали внимания? Ну ладно. Значит, если удачно такси

сейчас возьмем, ей нас там и ждать почти не придется. Поехали, Лексеич, поехали, не волнуй бабу...

## 4

Ты знаешь, мне уже не очень все это нравится. Ты накручиваешь, и накручиваешь, и накручиваешь из своих путешествий, и получается просто среднее видео — дерутся, стреляют, стреляют, дерутся... Конечно, за всем этим стоит какой-нибудь полковник кагэбэ Торгов или Нинов — они там всегда русские фамилии придумывают похожие на болгарские. Но ты же русский писатель, зачем тебе вся эта чепуха? Можно быть старым стилистом и не носить ничего отечественного, вплоть до трусов, но литература — это же все-таки не тряпки!..

В тот тяжелый, нелепый, с самого утра не задавшийся день они поссорились. Она смотрела перед собой упрямо, коротко сфокусировав взгляд. Глаза, когда на них падал свет от промчавшейся навстречу машины, сверкали, в них стояли, слившись к нижнему веку, слезы. Он вез ее в такси, машина пробиралась по Шереметьевской, въезжала на один путепровод, другой и уже выворачивала на финишную прямую, на Королева. Приехали минут на пятнадцать раньше, чем рассчитывали, остановились доссориться под редким и крупным дождем, он закурил, и тут же тяжелая капля брякнулась на сигарету, намочив ее почти всю.

Знаешь, ты не заметила, наверное, но ты нарушаешь определенные границы. Мне в голову не приходит учить тебя адекватной мимике, дикции и даже грамотной речи, хотя ты постоянно говоришь о «другой альтернативе» и «отпаривании». Что ж, что ты диктор, а текст готовит редактор, ты же считаешь себя интеллигентным человеком и могла бы не пользоваться советским новоязом...

Она уже откровенно плакала, отвернувшись от проходящих и отчаянно промокая еще не потекшую тушь, он курил, всасывая мокрую горькую сигарету, и чувствовал, что уже не остановится, что кончится плохо.

Ты хочешь меня обидеть, ты специально говоришь обидные вещи. Я думаю о твоей работе, о твоём достоинстве, а ты идешь на меня войной! Все, не могу больше... По-моему, ты просто решила, что можешь руководить мною, даже сочинительством! А я, между прочим, не мальчик, и есть читатель, которому именно мой кич, поп-романчики мои — подходят!.. Да я сама!.. Ну что, что ты сама?!

Она ушла на вечерний выпуск, он докурил и уже собрался ловить такси обратно, как увидел коллегу. Коллега прибыл на молодежную передачу в качестве именитого гостя и комментатора, редактор со всем почтением встречал знаменитость у входа. Через несколько минут был выписан еще один пропуск, они с коллегой уселись за кофе в полутемном баре. Кофе наливали в граненые стаканы — до половины. Коллега вытащил из заднего кармана чудесную английскую фляжку — в коже, с завинчивающейся крышкой, изогнутую по форме ягодицы, — предложил хлебнуть скотча. Был он в последний год удачлив необычайно, быстро богател, с удовольствием этим пользовался, реализуя свои давние желания провинциального пижонистого

парня, но глупел на глазах, становясь каждой бочке затычкой, комментировал даже и конкурсы красоты, и парламентские дебаты, рассуждал об экономике и истории и все время приплетал нравственный императив — увы, не всегда к месту.

— А я с бабой своей поругался, — глотнув, сообщил он знаменитости, тут же обругав себя в уме за идиотскую откровенность.

— Не переживай, старик! Поругались, помирились, дело житейское, а мириться всегда приятно, потом так получается, будто только что познакомился. — Гений хохотнул, порадовавшись своей пошлости, хлопнул его по плечу и пошел комментировать.

Он понял, что коллега имел в виду семейную ссору, и еще раз проклял себя за болтливость — при случае в общей компании этот самодовольный придурок чего-нибудь ляпнет... Еще ужасней было, что после глотка виски жутко захотелось выпить еще, а выпить было нечего и негде взять.

...Потом, как подростки, они стояли в чужом подъезде. Как хорошо, что ты дождался меня, какой ты умный и добрый, я ревную тебя ко всему, к твоим поездкам, к твоему тексту, и потом — почему это у меня халат короче рубашки? Значит, ты так меня видишь? Ну, не говори чепухи, нельзя же воспринимать беллетристику так буквально, а то припишешь мне все драки и убийства, которые я напридумывал, а какой из меня каратист и стрелок, если мне до сих пор жалко воробья, которого когда-то погубила моя кошка... Ну, я уже не сержусь, ты дождался, и все хорошо. Хорошо. О-ох... Знаешь, знаешь, на что это похоже? Когда водишь пальцем по переводной картинке, бумага сначала только сворачивается серыми катышками, потом начинает еще тускло, от середины к краям, проступать рисунок, тогда уже становится ясно, чем все кончится, и нужно слюнить палец, и водить аккуратно и равномерно, не прижимая сильно, чтобы не повредить цветной слой, вот точно так слюнить и, несильно прижимая, водить кругами и не отвлекаться — не отвлекай меня, — и наконец проступает все, и края, и краски оказываются яркими... Это бабочка... Или какой-то цветок? Нет, бабочка! Я поймала ее!.. Вот.

Снова ехали в машине, это был не таксист, а ночной многоопытный левак, в Коньково он запросил четвертной и, получив согласие, тут же врубил музыку на полную, вездесущая Тина Тернер закричала на всю московскую ночь, в мокром асфальте отражались огни. Мокрая ночная Москва, да ночная же в свежем снегу, да, пожалуй, утренняя на исходе листопада — вот и вся красота этого проклятого, единственного в жизни места, а в остальное время видны помойки, руины, лужи в выбоинах и вечные стройки.

Понимаешь, совершенно неважно не только о чем сочинение, но и какова его каждая строка. Нужно только, чтобы время от времени возникало у тебя самого такое чувство, вернее, предчувствие... Ну точно, как у тебя с твоей переводной картинкой, понимаешь? Ты ведь знаешь, что эти занятия очень похожи... И вот, когда хотя бы одна картинка ожила, засияла, вспыхнула жизнью, — уже все в порядке, уже не зря сядил за машинку. Тогда остается еще одно: надо все дописать и кончить так, чтобы эта яркая картинка не умерла, не засохла, не перестала сиять, надо сохранить это дыхание и так кончить. Понимаешь? Здесь есть полная аналогия: у тебя одна картинка, другая, они проявляются, прорываются одна за другой, а я должен терпеливо тянуть свою линию, выдерживать ритм и при этом сохранять интерес, и стремиться к концу, к



завершению изо всех сил, и в то же время сохранять для этого завершения силы, чтобы все не испортить!.. Ты слышишь, что я описал нашу любовь? А я слышу, что это инструкция по изготовлению романа. Собственно, любовь ведь так и называется — роман... Ты сентиментальный, старомодный, милый, любимый, красивый, я тебя люблю. И я тебя люблю.

Такси, такси, такси. Я пошла. Пока. Хлопнула дверь подъезда, загудел лифт, встал. Зажглось окно.

Поехали, командир.

Загляни в мое сердце, рыжая Тина советует правильно, загляни в мое сердце, любимая. Кто бы заглянул в мое сердце да объяснил мне, что там делается! У самого-то все времени нет.

## АРХАНГЕЛЬСКОЕ. ИЮЛЬ

То, что днем было очевидно как прозрачная узкая рощица, возможно, даже искусственного происхождения, ночью стояло непроглядно темным, угрюмо-шумным на ветру лесом, из тьмы тянуло сыростью, и узкий асфальтовый подъезд, ныряя в заросшую лощину и поднимаясь на невысокий холм, едва заметно светлел под дымящимся, скользким в облаках лунным светом. Сырой и жесткий ветер входил в машину поверх левого приспущенного стекла, путался в коротко стриженных волосах водителя «Волги» и закручивался над пустыми задними сиденьями.

Аккуратный, в полушерстяной гимнастерке столичного округа, краснопогонный солдатик вышел на крыльцо кирпичного домика у ворот, осветил фонариком номер машины и скрылся в сторожке. Темно-зеленые ворота в глухом заборе поехали вбок, и «Волга» продолжила путь по узкой асфальтовой дороге среди точно такого же темного, но уже за забором, леса. Метров через двести водитель затормозил. Свет, падавший из широких стекол большой веранды сквозь полупрозрачные оранжевые шторы, оставляя во тьме зубчато-неровный силуэт большого трехэтажного дома, обозначил матовое золото погон, седину — и вновь прибывший ступил в яркий, теплый мир ночного застолья.

Вокруг застеленного цветастой клеенкой стола сидели четверо почти одинаковых мужчин — вроде спортивных тренеров: крупные, тяжелые, груболицые, между пятьюдесятью и шестьюдесятью, в тренировочных трикотажных куртках с высоко застегнутыми молниями, в кое-как натянутых трикотажных же штанах. Один сидел, далеко отодвинувшись от стола вместе с тяжелым, довольно обшарпанным стулом, темно-красная плюшевая обивка которого по краям сильно вытерлась и лоснилась белесым. Он покачивался на задних ножках и, закинув ногу на ногу, старательно удерживал шлепанец, зацепив его растопыренными пальцами и напрягая ступню. Трое, наоборот, придвинулись к столу очень близко, налегли на него локтями. Коньяк, несколько тарелок с нарезанной дорогой рыбой, остатками икры, жирной копченой колбасой, две переполненные окурками пепельницы создавали обычный натюрморт мужского стола, только качество еды и питья отличало этот стол от сотен и тысяч других, вокруг которых сидели в это время десятки тысяч мужчин в стране...

— Здорово, Иван Федорович. — Раскачивавшийся на ножках стула кивнул вошедшему, с неудовольствием глянув на его костюм. — Лучше ничего не придумал, чем в мундире приехать? Тут по трассе кто только не шастает, и дипломаты, и корреспонденты, вокруг их дачи, а ты своими эполетами сверкаешь... Небось еще и шофера привез?

— Сам за рулем, — обиженно ответил генерал, подсаживаясь к столу. Один из аборигенов в спортивной одежде тут же отыскал чистую рюмку, налил коньяку, поставил перед гостем. — Сам всю дорогу, понимаешь, за баранкой, как пацан, а ты еще мне вычитываешь...

— Ладно, — вздохнул, продолжая качаться, будто испытывал устойчивость стула, человек в шлепанцах. — Ладно, что с тобой делать... Ты же небось без своих звезд поспать не ходишь... ну, выпей, расслабься да включайся в разговор.

Лампы сияли на веранде, теплом наливались оранжевые шторы, светлые квадраты лежали на асфальте подъезда, на траве. И уютен был страшный ночной разговор.

— Значит, этот... танцор хренов, — генерал уже глотнул рюмку-другую коньяку и зажевывал их бледным куском осетрины, которую он, довольно сноровисто орудуя ножом и вилкой, завернул почему-то в лист гурийской капусты, — ебарь тропический... готов?

— Угу, — односложно ответил один из ожиревших спортсменов, с седовато-сизыми волосами, аккуратно уложенными и слегка начесанными по давней комсомольской моде на уши. Он потянулся чайной ложечкой, зачерпнул икры, ровной горкой свалил ее на микроскопический кусочек хлеба и мгновенно закинул все сооружение в рот. Прожевал одним коротким движением мощной челюсти, проглотил и продолжил: — Танцор-то он танцор, а пыли мы с ним наглотались будь здоров, пока уговаривали. Ломался, как целка. А сам небось и в Афгане не одного замочил, и когда по Европе катался, я точно знаю, руку в бабью сумку запуская не раз и не два... Сука — больше ничего! Ребята из плена на карачках к своим ползли, а он на второй день в мусульмане запросился! Мало ему, жаль, обрезали, на немок осталось... Еще полез на меня, гнида...

— Ну и на хера, спрашивается, такое сокровище нужно? — тот, что продолжал качаться на ножках стула, произнес свой вопрос упрямо-настырным тоном, видно, задавал его не впервые.

— Ты, видать, таких много знаешь, — неожиданно обиделся седой комсомолец, — а вот я в этом деле разбираюсь, все-таки десять лет после обкома — это тебе не хрен собачий, я профессионалом стал, и я тебе говорю, что в деле этот трахальщик стоит взвода, а то и роты вот его ребят, — он ткнул в генерала, — вместе со всеми их беретами...

— Ну, моих ты еще не пробовал, они бы тебе яйца-то вырвали. — Генерал набычился так, что можно было бы и испугаться, но мужики вокруг стола, наоборот, засмеялись. Генерал треснул по клеенчатой столешнице кулаком: — И не хрена ржать! Я еще посмотрю на ваших специалистов драных, если я вам моих в помощь не дам. Джеймсбонды штопаные!

Застолье разразилось смехом с новой силой — генерал, несмотря на три ряда цветных планок на широко накаченной груди мундира, здесь, видимо, ни уважения, ни

страха не вызывал.

Один из смеявшихся вдруг резко умолк, перестал раскачивать стул. Это был лысоватый человек с черепом удивительно неправильной формы: плоским затылком, скошенным лбом и сильно выступающим вдоль лысины, как невысокий петушиный гребень, швом черепных костей. Тонкие светлые волосы вокруг лысины стояли ореолом.

— Хватит, действительно, ржать, — сказал он. — Не дети... Докладывай дальше, Игорь Леонидович.

— Ну, с еврейчиком было проще, — продолжил комсомолец тем же тоном застольной байки. — Даже не вякнул, как увидел своего фашистенка к розетке подключенным...

— Вот они, твои жида да пижоны, так тебе и наработают, — перебил генерал. Все еще красная от возмущения шея его начала багроветь гуще. — Если ты их на бабах повязал, так не ты один такой умный...

— Помолчи, Ваня, — тихо сказал лысый, и генерал тут же заткнулся, продолжая багроветь уже угрожающе, предынсультно. — Давай, Игорек, давай...

— А вот капитан, — седой Игорек вздохнул, — действительно... как есть самый серьезный из них мужик, так себя и показал...

— Ушел? Плохо... — лысый медленно поднял глаза, и отражения света вспыхнули и застыли в их желтизне.

— Ну, не ушел... — Игорек помялся, — но парня нашего одного, хороший парень, сейчас на полковника его представляю досрочно, повредил сильно... позвонки смещены, едва вывезли через Хитроу... В госпитале сейчас, на Соколе... Но все равно мы были правы — на бабу и этого взяли. Всех разметал, а бабы-то нету!.. Ну и сам к нам приплыл... Потом уж все кончилось, а он на коленях стоял: скажите, что будет жива, покажите ее, все сделаю. И заплакал, представляешь, Федор Степаныч?

— Представляю, — коротко ответил лысый. Свет опять блеснул и погас в желтых глазах. И в тишине он сказал задумчиво: — А мудака был все-таки этот... как его... ну в Африке где-то был наш парень... Амин, что ли? Людей жрал, мясо человеческое в холодильнике держал... Ну мудака — и больше ничего.

Потом они парились в бане, а краснопогонный солдатик, намертво заперев ворота и караулку, маясь вдруг беспричинной тоской, в нарушение всех инструкций бродил по участку и иногда заглядывал в окно предбанника. Сквозь щель, образованную чуть разошедшейся занавеской, ему были видны пятеро жирнобоких, тяжелоплечих мужиков. Они сидели на лакированных деревянных лавках вокруг лакированного деревянного стола и все жрали и жрали коньяк и заедали рыбой, икрой, финской колбасой, бананами, тушенкой из железных банок, ананасами, американской жвачкой, сгущенным молоком, марокканскими апельсинами, сухумскими гранатами, сырым мясом с базара по тридцатке килограмм, швейцарским шоколадом и сахарным песком без всяких ограничений посыпали ровненькую экспортную воблу без голов, туго набитую в стоячем положении в круглую банку. Дым «Мальборо» и «Кента» полускрывал порнуху, прокатываемую на видеке, и гремели двухкассетники.

Солдатик видел это совершенно ясно. И подумал, что если бы туда воткнуть хотя

бы одну гранату, кишками и мясом забросало бы все вокруг. И с этой мыслью он вернулся к воротам, потому что вот-вот мог пойти по постам проверяющий.

## 5

Жизнь прослеживалась, как одна длинная фраза, полная придаточных предложений, лишних определений и отступлений в скобках — приходилось возвращаться к началу, и смысл проступал, несмотря на перепутанный где-нибудь падеж, окончание, меняющее местами объект и субъект действия.

Все чаще в последнее время он задумывался о тех странных, по привычке казавшихся бессмысленными годах, которые принято считать, не вдаваясь, счастливыми, — о детстве и молодости. И получалось, что между ними и нынешней жизнью был какой-то незамеченный провал или рубеж, какое-то пространство, перейдя которое, он сначала изнутри, а потом и во внешних своих чертах стал совершенно другим. Что-то такое случилось, после чего и читать стал по-другому, и музыку слышать иначе — музыку, кстати, хуже и тупее, а видеть все ярче и подробней, хотя иногда и наоборот: смазанно и без настроения... Главное же — думать стал. Не то чтобы как-то глубже или серьезней, а просто — стал думать. Выяснилось, что раньше не думал вовсе, обнаружили чудовищные пробелы не только в знании, половину классики из школьной программы либо вообще не читал, либо помнил смутно, но, что хуже, сам заметил удивительные лакуны в собственной системе мнений и взглядов. И вот заполнение, причем очень быстрое, всех этих пустот сделало его совершенно новым человеком, а прошлая жизнь ушла, исчезла, и если вспоминалась, то исключительно как чей-то не слишком интересный рассказ.

Вспоминался двух-трехэтажный поселок, степь окружала его полынью цвета парадных офицерских шинелей — летом; дикой глинистой грязью осенью; редким, с черными прорехами, постоянно сдуваемым снегом зимой; снова грязью, начиная с марта; и, наконец, тюльпанами всех цветов. Мелкими разноцветными тюльпанами.

В поселке дома были двух типов: восьми— и двенадцатиквартирные, в один или два подъезда, как во всех поселках, выстроенных в начале пятидесятых. Посередине несообразно большой асфальтовой площади стоял дом культуры с колоннами и портиком. В левом от портика крыле был спортзал, запах пота и пыльных матов, в правом — библиотека с невесть откуда взявшимся американским журналом «Popular Mechanic», в котором джентльмен с узким длинным галстуком предлагал купить изумительную газонокосилку с незасоряющимся карбюратором. Вдоль узких асфальтовых дорожек внутри поселковых дворов к концу лета, когда уже приближалось возвращение в школу, пышно разрасталось кустообразное растение с поселковым названием «веники». Солдатики с гауптвахты, без поясов, умеряли его рост — под наблюдением конвойного с автоматом ППП, опущенным дырчатым стволом вниз, — без всяких косилок, косами, прямо посаженными на короткие ручки, вроде шашек, изогнутых в обратную сторону...

На кухне стоял приемник «Москвич», отделанный по закругленной панели розовой пестровой пластмассой. Если хорошо постараться, на средних волнах, медленно

перемещая по кругу тонкую красненькую стрелку, можно было обнаружить особенный хрип, потом неземной какой-то оркестр — и баритон: «This is the Voice of America. Jazz hour...» Иногда в словах Виллиса Коновера (с которым потом, пятнадцать лет спустя, то есть уже и пятнадцать лет назад, познакомился), иногда в его словах можно было услышать имя и узнать таким образом, что это оркестр Вуди Германа играет такую музыку, от которой возникает картинка улетающей назад дороги, движение входит в душу, и летишь в одной из тех хвостатых машин из журнала «Popular Mechanic», и длинный узкий галстук закидывает ветер на плечо... В школе учили наизусть про птицу-тройку. Потом любил Гоголя, разлюбивал, опять любил безумно — и точно знал, что птицу-тройку выдумали в Штатах. О, бедная моя школа!

Пришла молодость, все продолжалось, и узкий галстук действительно отдувало ветром, оркестры, старательно и прилично снимавшие Вуди Германа и Каунта Бейси, гремели в торжественных залах дворцов культуры под красными узкими и длинными полотнищами, извещавшими, что нынешнее поколение советских людей будет, мать бы его так, жить при коммунизме, — все было, но растения «веники» уже отшумели, и, если бы оказался вдруг в их зарослях, они бы не достали и до колен.

Тут, видимо, и был тот самый рубеж между жизнью и жизнью, пустое время молодости, тупое тренировочное время, однообразный пот и пыльные маты не задевших души постелей, с прочитанными и вошедшими только в подкорку книгами, с чувствительностью кожи слишком сильной, делающей наслаждение быстрым и кратким, легко забывающимся в нескончаемых повторениях... Боже, было ли это? Ну было, было. А зачем, Боже? Неужто сейчас дано понять смысл и назначение?

Ломая красные, реже желтые, еще реже синие тюльпаны, катались по пыльной даже весной степной земле, под ее грудью не было складок, потому что была то еще не грудь, а сильно вспухший сосок, и резинка, вытащенная из вздержки и связанная для тугости узлом, с трудом пропускала руку, и пальцы обжигало обнаруженными как бы не на законном месте волосами, тут все и кончалось. С этого все и началось.

Теперь можно иногда случайно, в самой неожиданной части города, встретить немолодую женщину с пустым и озабоченным выражением лица, которое проступает сквозь любой грим, оглянуться, кивнуть — и не почувствовать ровным счетом ничего. Между жизнью и жизнью была нейтральная полоса, а может, жизнью было даже больше, чем две. Вскрытие покажет, как принято выражаться, теперь уже вскрытие покажет...

А пока идет, длится другая, новая, последняя жизнь.

Ну, как работается? Ничего, нормально, все нормально. Сколько у тебя сегодня времени? Часа полтора, может, два, извини, больше не получится. Почему ты извиняешься, я тоже больше не могу, мне к пяти на передачу. Хорошо, я отвезу тебя, пока идем где-нибудь попробуем пообедать. Да где же ты пообедаешь, опять будешь искать и злиться, давай просто где-нибудь выпьем кофе, а поем я в Останкине. Ты-то поешь, а я сам голодный, идем, идем... Ну, а как у тебя дела? Были новые предложения? Кто из режиссеров глаз положил? Не говори чепухи и пошлостей, это уже не ревность, ты просто хочешь меня обидеть. Извини, ну извини... Ладно. Только не пей сегодня, хорошо? Хорошо, не буду, только одну рюмку. Ну грех же не воспользоваться, если в этой помойке оказался приличный коньяк... Командир, в

Останкино, червонец, поедешь?.. А, мать... В Останкино, командир... Слушай, я опоздаю, давай в метро, будет быстрее. Если следующий не повезет — хорошо, пойдем в метро... Вот видишь, все-таки едем. Поцелуй меня, и давай больше не спорить, ладно? Ладно. Ты меня любишь? Любишь-любишь.

И никогда, никогда, никогда не описать эту тьму, и огни, и асфальт, и дождь, и езду. Так и сдохну, и никто не узнает, что это такое — вечерняя, ночная езда по Москве в такси, на леваке, под слишком громкую музыку... Может, кто-нибудь уже описал или опишет? Ну, спасибо тебе за такую перспективу! Я сам хочу, понимаешь, сам, и никто это не опишет никогда — то, что видел я, понимаешь? Понимаю, конечно, понимаю... И если я это не опишу, то это умрет, понимаешь, значит, я вместе с собой уморю все это... извини, я говорю банальности, мне не хочется искать другие слова... Ничего. Не расстраивайся, милый, любимый, не расстраивайся и не пей, пожалуйста, я тебя прошу, хорошо? Хорошо.

Самое главное — это именно красные хвостовые огни, это важнее всего. И еще исчезновение деталей в темноте и под дождем, праздничная нарядность мокрого асфальта и красных уплывающих огней...

Если это вдруг случайно можно продолжить, если повезло и в сумке болтается купленная у ханыги возле Елисеевского за двадцатку бутылка — тогда есть смысл в очередной раз попытаться. Уже вернувшись, ощущая двойной жар — в затылке и шее от проглоченного перед тяжелым поздним ужином неполного стакана, и во лбу, в надбровьях, от усталости и желтого света лампы, — чувствуя, кроме того, что минут через двадцать, через полчаса кайф пройдет, жар схлынет, и останется только усталость, потянет в сон... Вот тут-то и есть надежда поймать эти огни, этот мокрый блеск и впихнуть их в серые строчки, выезжающие из старого «рейнметалла» с блеклой лентой.

Лишь бы поймать! Тогда уже можно спокойно закурить и, слегка улыбаясь хитро-безумной улыбкой в пустоту, отодвинувшись от стола, додумывать и довязывать эту детскую забаву — Сюжет. Сюжет, Сюжет, Сюжет, будь он неладен! Ну почему же нельзя, невозможно, самому становится тоскливо не выдумывать картинки, не связывать их, не видеть белую дорогу, сияющую под белым солнцем, проселочный съезд в сторону, в лес, выбитую полянку — стоянку над откосом, заросшим буйным, слишком ярким лесом, и злых, жадных, хрипящих ненавистью людей, таких лишних здесь... А ведь, казалось бы, хочется совсем другого: писать и писать об этой жизни, об этой женщине, ничего не выдумывая, не вызывая в памяти чужие картинки, не доводя их до ясности галлюцинаций, а просто писать о вечере в Москве, о людях, говорящих понятным языком, об их нищете, о том, как дерутся в очередях, как затравленно зло смотрят на танки, идущие в начале октябрьской ночи посередине улицы, сверкая белой парадной краской по обводам, о нашем с нею страшном счастье, о нелепых поцелуях на улице, когда девчонки рядом хихикают над старым козлом и его пышной дамой, о том, как стыдно быть счастливыми нам самим, когда в метро бабы везут вырванные с боем макароны, о любви, которая всегда не ко времени, но никогда так, как сейчас.

И можно так писать бесконечно, но вдруг выплывает белая дорога и большой темно-синий автомобиль, жарко сияющий под солнцем, проносящийся по этой дороге.

Безумное занятие, постыдное для взрослого мужчины — придумывание сказок.

Впрочем, этим всегда занимались именно взрослые мужчины, знающие, что это такое — придумывать другую жизнь. Голова тяжелеет, вместо кайфа уже нарастающая боль, и перед сном надо принимать спазмальгин.

## БАЛЕАРЫ. ИЮНЬ

Они приехали на темно-синем «вольво-универсале». Тяжелая темная машина выглядела нелепо на узкой жаркой дороге, но уж тут, подумал Сергей, совки себе изменить не могут: «мерседес» или «вольво» — вот их рай, их Царствие Небесное, уж если возможность появилась, они не упустят.

Мчались по направлению к Андрачу, седой комсорг лихо управлялся с рулем на горной дороге. Все-таки чему-то их там учат, под Минском или где там... Юлька не то стонала, не то шипела сквозь зубы, руки ее напряглись, наручники до сизой белизны передавливали по-птичьему костлявые запястья.

Сидели на заднем сиденье вчетвером, вжавшись друг в друга, у Сергея затекла левая нога, нестерпимо ныла мышца. Он был прижат к левой дверце, поверх его ладоней, связанных наручниками, лежала ладонь прапора-афганца, было похоже, что между ними есть противоестественная ласка. У правой дверцы сидел третий, это был белобрысый, аккуратно стриженный, краснолицый, как всякий загорелый северянин, паренек, больше всего похожий на путешествующего амстердамского или стокгольмского студента. Его ладонь лежала в свою очередь на Юлькиных, вид был вполне лирический, если бы не побелевшие ее запястья. Вторые пары наручников обеспечивали эту нежность — левую руку прапора они держали на ладонях Сергея, левую руку белобрысого — на Юлькиных.

— Fucken Russian bastard, — шипела Юлька, белки глаз ее стали уже совершенно красными, и лицо исказилось до полного сходства с африканской деревянной маской, — fucken bloody shit, you, Russian cocksucker... You, listen! Wouldn't you fuck me in your fucken Paris with your fucken prick, I never have such fucken position with fucken cops. You, old asshole, old assfucker.

— Shut up, you. — Сергею надоело, он негромко бормотнул в ответ: — Now you will be shot together with such old shit, like me... And shut up, don't fuck me...

— Хорош, Серега, спикать, — не оборачиваясь, сказал от руля комсорг. — Я хоть по-английски и секу, но черт вас разберет, может, у вас не семейный разговор, а код... Помолчи, не раздражай ребят, им и так тесно, жарко... Перевозбудятся, куда мне тогда твою черножопую от них прятать?

Сергей не успел даже дернуться. Юлька взвилась, белобрысый пацанчик стукнулся головой о потолок, а Юлька уже колотила кулаками, браслетами наручников комсорга по седине, рука белобрысого выворачивалась и хрустела, машина вильнула и, ломая низкие кусты, въехала на поляну над обрывом. «С'ам тшерношопи, — визжала Юлька, — тшерни, хрясни, я мил шопа чистий за твой морда, плиать, сук!...»

На поляне Юлька лежала лицом вниз, белобрысый с побелевшими глазами поливал запястье с начисто сорванной кожей люголем, прапор, защелкнув вторую пару наручников на Юлькиных щиколотках, — золотая цепочка блеснула — поволок уже



глухо замолчавшую, с быстро вспухающим кровоподтеком на скуле Юльку к открытой задней дверце машины. Блондин оскалился и пнул Юльку кроссовкой в живот: «Гнись, сука черная, лезь, потом не так согнем».

Сергей сидел на траве, вытянув перед собой скованные руки, рядом валялась вторая пара наручников. Прапор уже подходил к нему — они собирались и Сергею сцепить ноги, положить рядом с Юлькой, перекрыть уже приготовленной полосатой брезентухой — мало ли что лежит в универсале, прикрытое куском пляжного тента.

— Зря вы дергались, — сказал седой комсомолец, — и баба твоя, и ты... Теперь до Пальмы поедете багажом, там на яхточку... Белеет парус одинокий, понял?

Он доставал из алюминиевого ящичка шприцы и ампулы. Ящик сверкал на солнце, тишина и солнце стояли над поляной, деревья уходили в небо, их вершины были и вверху, и рядом — лес по откосу спускался к морю, прореженный дорожками, усыпанными мелкими острыми камнями. Внизу, под откосом, пустел маленький песчаный пляж, отливающий светлым серебром, и зеленела мелкая бухточка.

Сергей подтянул ноги к груди и резко разогнулся. Лбом он точно въехал в низ живота склонившегося к наручникам прапора и, почти одновременно двинув затылком, разбил ему лицо. Через секунду он уже прижимал изувеченного к себе спиной, передавливая ему горло перемычкой наручников.

— От машины, — негромко скомандовал Сергей белобрысому. Прикрываясь прапором, он шагнул к поднятой вверх задней дверце универсала и мгновенно оказался под ее прикрытием. Белобрысый стоял в метре, все еще скалясь, — не успел сменить выражение лица.

— Отомкни, — так же негромко скомандовал Сергей прапору и наклонил его к Юльке. Прапор дернулся, Сергей чуть напряг руки, прапор захрипел, вытаскивая из кармана ключ от наручников. Ключ болтался на длинной цепочке, прапор никак не мог его ухватить, слюна бежала из углов его рта, руки у Сергея уже были мокрые.

Юлька застонала, выползла, встала на земле, с трудом разгибаясь, сделала шаг из-за машины. Белобрысый уже подался назад, но было поздно — тяжелый розоватый комок Юлькиной слюны плюхнулся ему точно в глаза, потек по щеке. «Shit», — сказала Юлька и окончательно разогнулась.

И тут же Сергей понял, что он проиграл еще раз — и теперь непоправимо, потому что больше глупостей эти ребята уже не наделают, спешить не будут. Седой стоял, чуть расставив ноги, как в тире, и с двух рук целился в Юльку широким, страшным стволом.

— Стой спокойно, солнышко, — сказал он, — don't move, molly, be quiet... Серега, объясни ей: у меня обойма специальная, ей такая здоровая дырка лишняя будет... И сам брось человека душить, слышишь? Он, может, однополчанин твой, а ты его душишь. Иди ко мне спокойно, повернувшись задницей, понял?! А то я точно твою шоколадку пополам сломаю...

Белобрысый ткнул плохо, колоть не умел, Сергей почувствовал, что игла, проткнув шорты, пошла косо вверх, будто на кнопку сел.

...Один раз он сел на кнопку. Сзади сидел Володька, переросток, с любыми двумя в классе справлялся одной левой. Сергей встал, аккуратно вытащил кнопку из тут же

промокших небольшим еще более темным пятном темных сатиновых шароваров, бросил кнопку в дальний угол, к экономической карте, Володька смотрел спокойно, с легким интересом, не вставая из-за парты, — ноги его помещались в ней враспор, китайские кеды сорок четвертого размера твердо стояли на полу, колени вдавливались в нижнюю доску ящика, трикотажные тренировочные штаны с разошедшейся застрочкой вдоль штанины — «стрелочкой» — натянулись штрипками. Сережка вцепился, почувствовал, как заскрипели, затрещали мышцы, — и перевернул парту вбок, Володька упал в проход, завозился, пытаясь высвободиться. И, точно замахнувшись, словно на штрафной, Сережка ударил его добела ободранным носком почти до праха доношенного отцовского ботинка — в лицо. Если бы Володька встал, Сережке был бы конец. Но Володька не встал. Слепо стирая, и стирая, и стирая кровь, заливающую лицо, он кричал без слов и лежал, так и не вылезши из парты.

Через три недели сняли все швы, и он уже гулял по больничному саду, дожидаясь, когда выпишут после сотрясения. Вдруг над забором взгромоздился Сережка. Снизу его держали Толик и Круглый, но забор был глухой, Володька не мог их видеть, и они согласились держать.

— Видишь, — сказал Сережка и поднял над забором тяжелый штык от карабина СКС с полусгнившей ручкой. — Видишь? В степи нашел. Выйдешь отсюда — уходи в «молоточки». Придешь в школу — убью.

Пацаны устали, плечи их стали дрожать. Сергей спрыгнул на землю, спрятал штык в сумку «Динамо», между тетрадками и всяким барахлом, и пошел в степь, где в ту весну проводил почти целые дни. Володька после больницы перешел в железнодорожное пэтэу, ходил в рваной куртке с молоточками в петлицах, однажды — их было человек восемь — с друзьями встретил Сережку после школы прямо во дворе. Сережка рванул навстречу, прямо на Володьку — и тот отскочил в сторону, втиснулся в забор, побелел. А Сережка вымахнул на улицу, и «молоточникам» уже было его не догнать...

Он упал лицом вниз, седой успел придержать его одной рукой, другую, с пистолетом, не опустил.

— Иди сюда, солнышко, — сказал он Юльке. — Сейчас и тебя спать уложим. Иди, иди, не притворяйся, ты по-русски понимаешь, иди.

Юлька подошла медленно, тихо постанывая. Лицо ее уже было совершенно изуродовано разросшимся фингалом, перекошено. Она подошла к комсомольцу почти вплотную. Белобрысый и блондин уже укладывали Сергея в машину. Юлька глянула комсомольцу в глаза, растянула косо вспухшие губы в улыбке — и, круто повернувшись, низко склонилась, оставив задницу.

— Do it, — сказала она разбитым ртом невнятно, — do it. You, son of fucken bitch. If you can't do something, do it with your bloody hands, you, piece of cat's shit...

Седой усмехнулся и ловко ткнул шприцем.

## МЮНХЕН. МАЙ

— Отпусти пацана, — сказал Юра, стволом почти продавливая висок того, лица

которого он так и не увидел. Оборот, высоко, до лопатки вывернутая рука, перехваченный в воздухе, выпавший из этой руки коротко-ствольный револьвер — и вот уже они поменялись местами, Юра стоял за спиной высокого малого в длинном и широком модном плаще, почти весь укрывшись за этой обширной спиной, упирая ствол револьвера в его висок. — Отпусти, я стреляю...

Он не выжил бы в том проклятом городе, если б не секция. Однажды трое решили поучить жиденка прямо в центре, на пустой аллее сквера перед университетом. Одному из них Юра сломал ключицу, был суд, и Михаил Ефимович привел всю секцию и сказал, что гордится таким учеником, как Юра.

— Стреляй. — Второй, в почти таком же плаще, в нелепо сидящей на слишком большой и какой-то кривой голове твидовой панаме, пожал плечами. Он был за тем креслом, в котором Юра больше всего любил сидеть перед телеком, на полу рядом с правой ножкой осталось не очень заметное пятно, туда ставилось пиво... — Стреляй, стреляй, мне за него не отвечать, сам виноват, что физподготовку сачковал... Стреляй, а я пацана включу. Пусть споет гимн ихний, что ли...

Кресла стояли точно так же, как накануне вечером, когда все вместе смотрели очередную серию «Далласа». В правом сидела Ютта, вывернутые за спиной руки ее были стянуты свешивающейся до полу джутовой веревкой с разлохмаченными концами, эти ребята не слишком трудились по части оснащения, взяли на операцию, что нашли в первом же кауфхофе, на этаже, где продается всякая хозяйственная ерунда. Обрезками этой же веревки были привязаны ее щиколотки к ножкам кресла, и Конни они связали так же... Грудь Ютты выгнулась под Юриной старенькой черной фуфайкой с желто-красной надписью «I love Bayern», вместо love красное сердечко. Она была без лифчика, соски натягивали черный трикотаж, все вместе — точь-в-точь картинка из какого-нибудь древнего комикса. Рот ей они заклеили пластырем, но глаза — темно-серые, почти без выражения — были открыты и смотрели прямо. Когда Юра впервые произнес «Отпусти пацана», она перевела взгляд на Конни, будто только сейчас заметила его, — и обмякла, голова свесилась к плечу, веки опустились, плечи еще сильнее выгнулись, потому что всем своим весом она стала сползать — потеряла наконец сознание.

Мальчишка сидел ровно, и его голова в туго натянутой до горла вязаной шапочке была неподвижна. Юра знал, насколько прилично Конни понимает по-русски, слово «включать» он наверняка знает... Да и без слов понять нетрудно: молния на джинсах Конни была расстегнута, оттуда тянулся оторванный от утюга, валявшегося тут же, посреди комнаты, провод. Вилку дебил в панаме держал в руке, шнур телевизора он уже вытащил из розетки. Юра представил, как глаза мальчика глядят в душную тьму под шапкой.

— Wie geht's dir, Konny? — Юра удивился сам, как спокойно прозвучал вопрос.

— Es geht, aber zu heib. — Голос мальчишки из-под шапки был еле слышен. — Und wie ist meine Mutter?

— Alles ist in Ordnung, — сказал Юра. — Konny, alles ist...

Дебил шевельнулся. Юра отнял ствол револьвера от почти продавленного виска и перевел на дебила:

— Ну, все! Отпусти его на счет «три»...

— Стреляй, — еще равнодушнее, чем раньше, сказал debil. — Не промахнись только... А с пацаном не разговаривай, ему хуже будет...

Тот, за которым Юра стоял, резко дернулся, решив, что самое время, но Юра напряг левую руку, которой он старым милицейским способом сжимал сквозь плащ и штаны мошонку, малый взвыл, ствол вернулся к его виску. Стрелять в debила было нельзя: он сидел на корточках за креслом Конни, выглядывала только голова в дурацкой шляпе, которую он мог мгновенно спрятать за мальчишку.

— Ладно, — сказал выродок, — остобубнел ты мне, Юрик. Пора пацана закону Ома учить...

Рука его потянулась к розетке.

Глухо стукнул упавший на ковер револьвер. В ту же секунду малый, почувствовав, что и левая рука Юры разжалась, со стоном согнулся, подхватил оружие, выпрямился и что было сил ткнул стволом Юру точно в печень.

— Делай, — Юра говорил неразборчиво, густая слюна капала изо рта в приступе горькой тошноты, — делай, падла, что хочешь, пацана с жинкой отпусти...

Дебил уже встал, в руке его был разовый шприц в пластиковой запайке.

Юра лег на пол. Он старался не закрыть глаза, закрывавшиеся непреодолимо, укол подействовал почти мгновенно. Он лежал на животе и, мучительно напрягаясь, чтобы не ткнуться носом в блекло-зеленый ворс ковра, смотрел, как сначала выносят Конни, заснувшего сразу, а потом Ютту, у которой обморок, перейдя в сон после укола, вдруг обернулся какими-то странными судорожными движениями — когда ее сгибали и втискивали в длинный складной кофр-шкаф, в котором до этого унесли в машину Конни, вещи, оставшиеся в кофре с прошлого отпуска, вывалив грудой в прихожей, — рука Ютты вдруг судорожно сжалась, и debil едва выпростал из ее пальцев обшлаг плаща. «Осторожно, — сказал ему второй, — повредим эту сучку немецкую, жидяра полоумный вовсе озверееет, на пулю начнет нарываться. Осторожнее... Надо же, сколько немцы ихней нации в печках пожгли, а он за эту старую манду и поганца ее чуть сам не подставился и нас мог замочить! До чего ж они себе на уме — ужас... Давай бери аккуратно, да не пыхти: соседи не поймут, чего такой чемодан тяжелый».

Они вышли, задевая плечами дверные косяки, и Юра наконец опустил голову в зеленоватый ворс. Собственно, это уже был не ворс, а жирная ледяная вода, но вода почему-то пахла не соляжкой, как обычно в порту, а едва ощутимо пылью, безумно хотелось и даже необходимо было поспать, потому что иначе не доплывешь, а первый помощник уже поднимает по тревоге и вооружает вахту. Поэтому надо было быстро, быстро заснуть, вдыхая запах пыли, — хрен с ней, с пылью!

## ЛОНДОН. АПРЕЛЬ

Они лежали на полу, он уложил их по всей науке, лицами вниз, руки в наручниках за спину. Джентльмен в сером глухо стонал, потом попросил — почти неслышно, лицом в пол: «Переверни... наручники сними и переверни, слышишь? Ты мне, сука,

позвоночник сломал, гестапо... Переверни, не денуть никуда...»

— Не сломал пока, а помял только. — Он шагнул к серому, наклонился не низко, чтобы контролировать все помещение. — Но сломаю обязательно, понял? Через десять минут Галя должна быть здесь, иначе...

Он носком ботинка поддел сцепленные наручниками руки, чуть дернул вверх, выгибая лежащего в йоговскую позу змеи, тот взвыл, зашипел, забулькал, затих — и сунулся снова лицом в пол, когда носок ботинка выскользнул из-под скованных кистей. Минуты три лежал без сознания, потом прошептал едва слышно: «Мудила... Мудила ты, капитан... От меня не зависит... Они твою бабу сюда не приведут, они тебя к ней присоединить должны, понял? А что ты меня убьешь, им насрать... Давай, калечь дальше, палач...»

Уже два часа прошло, подумал он, после того как я заставил эту падлу позвонить в посольство — и никакого толку. Похоже, им действительно плевать на исполнителей захвата, Галю не отдадут, хоть я их пополам перерву.

— Ладно, едем... — рывком за шиворот он поднял на ноги сначала одного гэбэшника, потом второго. — Давайте в машину, быстро!

Такси стояло здесь же — да, работали эти ребята грамотно, использовать в оперативных целях старый лондонский кеб с фальшивым номером было самым разумным, этот черный старомодный ящик никто не запомнит в городе, где он обязательная часть пейзажа. Гэбэшники неловко пролезли в широкий проем двери, плюхнулись на сиденье.

— А ну, на откидные! — тычками он помог им пересест на откидные сиденья, спиной к движению, так спокойнее. — А ты здесь лежи. — Он покосился на серого, который стонал все громче. — Галю получу — тут же отдам товарищам ключи от тебя... Пока отдыхай.

Он распахнул ворота мебельного склада. Уже совсем стемнело, St. Pancras сиял сквозь стекла негасимыми вокзальными огнями, справа, черная на черном, едва заметно, но тяжело прорисовывалась на фоне неба гигантская скала старого дворца. Он сел за руль, вывел машину в узкий проезд между вокзалом и путепроводом, вылез, запер ворота, сунул ключ в карман и через минуту влился в череду такси, отъезжающих от боковой стоянки у вокзала. Сзади, за сеткой и стеклом, кряхтели гэбэшники. Ему хотелось думать, что это именно Комитет, а не ГРУ. «Аквариума» он боялся помимо сознания, если бы поверил, что ребята с Хорошевки, — наверное, сдался бы сразу. Слишком хорошо помнил кадры: связанный живой Пеньковский, въезжающий в топку подвальной котельной, старательно сделанный крупный план лица — учебный фильм, воспитание высоких морально-политических качеств советского военного разведчика...

— Мой кеб на углу, — сказал он в трубку, прижал ее плечом и плотней прикрыл дверь старомодной телефонной будки. — Ваши гаврики в нем. Жду пять минут, потом сдаю их местным ребятам. И очередную сотню своих готовьте на выдворение... Пусть ребята уже багаж пакуют, в будущей невыездной жизни пригодится. Ясно? Значит, через пять минут моя жена должна сесть в мою машину — иначе уже сейчас пишите ноту про недружественный акт...

Галя сидела молча, она пристроилась на откидном, и он чувствовал, что смотрит

ему в затылок, не отрываясь. Когда на углу напротив посольства она села в машину, бережно поддерживаемая под локоток лбом из службы безопасности, он даже в зеркальце увидел, что руки ее дрожат, подергиваются и голова — вернулся тик, приобретенный лет пятнадцать назад, когда ее вместе с другими отказниками, засевшими в «калининской приемной», погрузили в ментовский автобус, вывезли километров за пятьдесят от Москвы и выкинули — ночью, на пустой дороге, в двадцатиградусный мороз. Декабрьский, с ветром...

Сейчас она сидела молча, смотрела в его затылок, и дрожащие руки чуть слышно скребли, царапали, дергали сетку, отделяющую водителя от салона.

Только когда через яркие, но уже пустые переулки вырвались в Chelsey, переехали мост и ровно, почти не тормозя у светофоров, поехали к Vauxhall, она заговорила, и Володя почувствовал, как тяжело, с усилием разжимаются ее губы — он уже знал такое ее состояние, когда она впадает в оцепенение, и чем дольше в нем находится, тем тяжелее ей заговорить.

— Опять, — сказала она, и голос сорвался в высокий, болезненно-детский. — Опять ты меня вытаскиваешь, опять я гиря на тебе... Им бы не зацепить тебя ничем, если бы не я... Сколько же ты будешь возиться со старой, измочаленной бабой...

Слева кадром из хоррора возник чудовищный контур Battersy Power, давно не работающей городской электростанции, которую собирались превратить не то в музей индустрии, не то в отельный фешенебельный комплекс. Диккенсовские трубы торчали в небо, и за глухим забором чудилась страшная и тайная жизнь.

— Прекрати, я тебе уже сто раз говорил. — Володя не оборачивался, пришлось повысить голос. — Прекрати эти бессмысленные и оскорбительные для меня выдумки. Чего же я стою, если ты старая баба? Я бы со старой бабой не связался. Я за любимую дерусь, а не за старую, понятно, нытик ты мой несчастный?

Тут наконец пришлось остановиться перед светофором. Справа вывернул и медленно поплелся перед Володиным носом такой же черный ящик кеба, Володя, рванув резко под зеленый, попробовал обойти его справа же, но усталый, видно, таксист ехал как-то неуверенно, шатаясь вдоль улицы, и Володя решил обойти его слева, но, видно, очухавшись, и тот надал, и к следующему светофору они подошли под красный — рядом.

— Как ты там? — Володя, остановившись, обернулся к Гале, она сидела боком на откидном сиденье, их глаза оказались близко, только мелкая сетка разделяла их. Как всегда, когда он видел эти чуть слезящиеся желто-карие глаза близко, Володя почувствовал изумление — как долго остается во взгляде боль и страх...

В эту же секунду ее зрачки стали расширяться, она начала как бы приподниматься, тянуться к нему, губы шевельнулись, он поймал ее взгляд, устремившийся за его плечо, — но дверь уже рванули, и, сразу потеряв сознание от профессионального удара чуть ниже последнего шейного позвонка, он выпал на руки подбежавшим, и они мгновенно перетащили его в соседнюю машину — только каблуки скребанули по асфальту — и бросили на пол пассажирского отсека, и один уже присел над ним, сноровисто выпрастывая из упаковки разовый шприц, а другой уже вывернул руку Гале, сбросив ее с сиденья на пол, спокойно и внятно сказал: «Заорешь — пополам порву», — и так же умело всадил иглу прямо через ее джинсы.

Патруль дорожной полиции, скучавший у перекрестка Alberts embankment и Lambett road, с интересом проводил глазами два такси, пронесшихся одно за другим в сторону Waterloo. Впрочем, ехали они в пределах разрешенной скорости, и не было никаких оснований препятствовать их растяпам-пассажирам, вероятно, опаздывающим на последний поезд в Portsmouth.

## 6

Весь городишко был засыпан белой пылью.

Крупнейший в крае цементный завод все рос, строился и получал переходящие знамена министерства, принимал высоких гостей, и пыль все безнадежнее ложилась на пятиэтажки, скрывая купоросно-синюю краску, которой были покрыты их фасады по дикой фантазии городского архитектора.

То, что она будет артисткой, знали все, второй такой во всем городе не было, только одно ее смущало — как ей играть «Чайку» со своими казачье-турецкими, в отца, кудрями.

В Москве она сразу как-то ввалилась в компанию полудиссидентов, каких-то странных поэтов, художников, устраивавших выставки своих запрещенных непонятных картин по квартирам и пыльным мастерским, сильно и некрасиво пьющих джазовых музыкантов... В Щукинское провалилась с треском, но в общежитии продержалась до ноября, спала на чужих кроватях, и единственные трусики сохли за ночь, накрученные на батарею. Потом пришлось перебраться в общежитие Гнесинки, там было поспокойнее, но и оттуда выперли.

Неожиданно пристроилась помрежем в областной театр. Одновременно появился и Олег, маленький, щуплый человек с большой рыжей бородой и прекрасными глазами янтарного цвета, открывавшимися, когда он снимал подтемненные красивые очки. Он был художником, искусство его она не понимала совершенно, главный шедевр в его мастерской представлял собой где-то украденный медицинский муляж грудной клетки с раскрашенными мышцами, укрепленный на лакированной черной доске. Грудная клетка распахивалась, четверть ее открывалась, как калитка, и в груди обнаруживались напиханные туда Олегом спирали старых часовых пружин, гипсовые носы и как бы случайно смятые обрывки газет с крупными заголовками: «Идеи Октября живут и побеждают» и «Путь предательства». Обычно грудная калитка была закрыта на маленький сортирный крючок. Олег распахивал ее только перед приходом гостей, особенно иностранцев, всегда приносивших красивые бутылки и иногда покупавших его маленькие рисунки — будто сломанные в поясище, угловатые голые женщины, взлетающие вверх ногами в пустое небо...

Днем она осторожно сметала пыль с того, с чего он разрешал, — с маленького столика, на котором ели, с книжных полок, потом готовила что-нибудь к ужину, чаще всего жарила филе трески и открывала очередную банку лечо. Омерзительная старуха соседка Полина Власьевна, редакторша из «Профиздата», как только выходила на кухню, начинала громко, хорошо поставленным голосом лекторши, объяснять второй



соседке, вдове шофера-золотаря Файзуллаева, как в ее время относились к свободной любви. «Мы были единомышленницами, а не содержанками», — говорила она, а старая седоусая Фатима испуганно кивала, не понимая ни единого слова.

Олег был весьма скуповат. Филе трески ели пять дней в неделю, но к приему иностранцев он приносил хорошую баранину, которую покупал у школьного друга, ставшего мясником, и внимательно смотрел, как она готовит. Подлая Полина на кухню не выходила, так как Олега побаивалась, — однажды она провизжала: «Между прочим, я считаю, что наши товарищи должны знать о ваших связях с буржуазными меценатами!», — и Олег абсолютно спокойно ответил: «Еще посмотрим, к чьему стуку сильнее прислушаются... Караганду забыла, или мало было по рогам?» Из глаз Полины сразу потекло, и она убралась в свою комнату...

За год подготовилась серьезно, да и в театре пообтерлась.

Однажды после премьеры поехали в ВТО, актеры быстро и решительно напились, режиссер Валерий Федорович встал из-за стола около десяти, огляделся — и предложил заехать к нему, выпить еще по рюмочке, посидеть. Олег в этот день был в Ленинграде, поехал по каким-то своим делам, готовилась там какая-то очередная подпольная выставка, что-то еще невразумительное сказал насчет желания попрощаться с каким-то приятелем, собравшимся уезжать. Друзья его уезжали каждую неделю, многие «сидели в отказе», заходили по договоренности поздно ночью. Олег впускал их осторожно. До утра курили, вполголоса обсуждали, кто уже получил вызов и собирается, кто уже подал и каковы шансы на разрешение. Шел семьдесят второй год, в январе она сшила Олегу новые брюки по моде — клеш и с широкими манжетами...

Утром Валерий Федорович твердо пообещал ей помочь при поступлении. А через месяц Олег объявил, что тоже уезжает.

...Теперь ей вспоминалось все это как одно непрерывное унижение. И иногда, по дороге домой из Останкина, на последней своей прямой «Киевская» — «Фили», сидя в метро с прикрытыми под темными очками глазами, — чтобы не узнавали постоянные зрители вечерних новостей, — она замечала, что плачет, мелкие слезы ползут, прорезая нечисто смытый грим, плачет от старого унижения. От Олеговой скупости, от того, что не предложил ей уехать вместе, от того, что был бездарен вместе со знаменитым его муляжом и летающими бабами, украденными у Шагала, — теперь она уже знала. Все было унижением — и то, что Валерий Федорович не только не помог поступить, но просто исчез, как раз на август уехал с театром на гастроли в Польшу, а ее не пустили, она оказалась невыездная, наверное, из-за своих диссидентских знакомств. А потом многие годы на всех углах, во всех застольных компаниях он говорил о ней: «Моя ученица, мое изделие, я ее сам придумал, в училище впихнул при ее тогдашней темноте, корову через „ять“ писала и Островского знала только того, который „Как закалялась сталь“, а теперь, гляди-ка, выработалась в актерку...»

А поступила она сама, со зла и отчаяния, оставшись без Олега, без театра, опять ночуя по подругам, общежитиям и — иногда — по несчастным любовникам. Поступила, блестяще прочитав-таки из «Чайки», которую потом возненавидела на всю жизнь...

Все вспоминалось как унижение, и за все надо было посчитаться. Вернувшись с гастролей, Валерий Федорович держался с ней как ни в чем не бывало, и что еще хуже,

и она держалась, будто с нею так и нужно. И это продолжалось долгие годы — пока он не запил наконец безудержно, пока не погнали его по требованию коллектива из театра. Это и совпало с ее освобождением от его чар, давления, власти.

Казалось, что жизнь начала отдавать ей долги. За пять-шесть лет она превратила свою неудачу — попала после училища совершенно случайно на телевидение, прошла дикторский конкурс и застряла — в блестящую карьеру. Вела самые популярные передачи, на улице узнавали немедленно, получила однокомнатную близко к работе, на Аргуновской.

Однажды вела какую-то муть, случайно, в несмотрибельное время, днем, что-то про науку. Молодой, огромного роста, как с фирменной рекламы красавец предложил после передачи отвезти домой...

Был Андрей уже доктор, по своим химическим делам не вылезал с конгрессов то в Маниле, то в Брюсселе, ездил на «Волге», а жил у приятеля — три месяца назад вернулся из Челябинска, что-то там консультировал две недели, и застучал жену. Сын был у бабушки. Ключ в скважине натолкнулся на другой, вставленный изнутри. Он позвонил. За дверью шла суетливая жизнь, наконец жена открыла. На ней были брюки и тонкий свитерок, она была аккуратно причесана и вид, как обычно, имела строгий — преподавательница в техникуме. «А ребят увезли на картошку, — сразу объяснила она свое нахождение дома в разгар учебного дня, — мы с Леонидом Владимировичем оказались не у дел, я и пригласила его кофейку попить...» Позади нее маячил Леонид Владимирович, преподававший в том же техникуме общественные дисциплины. Однажды Андрей его уже видел — после какого-то техникумовского празднества, скорей всего, восьмого марта, жена привела домой много народу — допивать, Леонид Владимирович был безумно остроумен, но каждую шутку повторял дважды, чтобы все расслышали... Аккуратно обойдя жену и Леонида Владимировича, Андрей прошел в спальню. Постель была убрана, но из ящика торчал впопыхах не замеченный край простыни. «Можно тебя на минуту?» — позвал он жену. Она вошла, остановилась у двери, чуть пошатнувшись, оступившись. «Зря ты надела брюки на голое тело, — сказал он. — Все остальное могло бы сойти, но это заметно и трудно объяснимо». В прихожей стукнула дверь — Леонид Владимирович удалился...

Через полтора года однокомнатную они поменяли с большой доплатой, Андрей встречал ее после каждой поздней передачи и, перегибаясь из-за руля, целовал, чуть прикасаясь сухими губами к губам. Завидовать ей стали еще больше... Так они прожили восемь лет. Дочка пошла в школу, помогала бабушка, его мать, поочередно пасшая то старшего внука, то младшую внучку и одинаково ненавидевшая их матерей. Она была вдовой академика и оба брака своего сына считала непристойными мезальянсами, от нового тоже не ждала ничего хорошего, но детей воспитывала по-своему, серьезно, потому что академическая фамилия не должна была прерваться выродками, каким-нибудь рокером и шлюхой.

Но и тут, в этой благопристойной жизни, унижение не кончилось. Именно теперь, когда можно было бы существовать прекрасно, достойно, чисто, — одолела ее страшная, давняя, с отрочества, пагуба. Не знал об этом никто — ни Олег, ни сгинувший где-то в провинциальных постановках стадионных концертов Валерий Федорович, ни случайные мужчины — о неутолимости ее, которую смиряла всю жизнь, да так и не смирила. И теперь, в покое и довольстве, страсть, бешенство, жажда

вылезли на поверхность, стали крутить ее и корезить. В первую ночь Андрей был счастлив, такой любви он не знал, техникумовская учительница была жадна, но зажата, лишена фантазии и понимала только одно: еще, еще, еще...

Хриплые крики этой женщины, ее судороги, то, как она изгибалась, становясь на миг сильнее его, радостно изумили... Но прошли годы — и однажды днем, когда свекровь увела внуков в Пушкинский музей, в спальне с задернутыми шторами она открыла глаза, отстонавши, отхрипев, отдергавшись, — и встретила взгляд Андрея, удивленно холодный и даже — потом убеждала себя, что показалось, но знала, что так и было, — слегка брезгливый. Резко оттолкнувшись мощными руками байдарочника, он встал и, не оглянувшись, молча ушел в ванную. А она осталась лежать, только медленно перекатилась лицом в подушку и, закидывая назад руку, нащупывая, натянула на себя простыню. Это был последний раз днем, да и вообще — последний раз по ее инициативе. Теперь пару раз в неделю она лежала ночью неподвижно, глядя в невидимый темный потолок или плотно закрыв глаза, и повторяла про себя: «Я не хочу... ничего не хочу... это не я... не я...» Андрей будто ничего и не заметил.

Между тем жизнь изменилась непредставимо. С экрана она произносила немислимые слова, в студии появлялись люди, заставлявшие вспомнить молодость, пыльные мастерские и ночные разговоры, в которых она, тогда еще ничего не понимая, радостно ловила отзвук, эхо опасности, наслаждалась привкусом недозволенности и находила в этом выход своей вечной неутоленности. Теперь люди, неуловимо похожие на Олега и его друзей, приходили в студию, она их представляла зрителям, а они, лихорадочно спеша сказать, выкрикнуть застоявшиеся слова, смотрели сквозь нее и даже, как она иногда замечала, с некоторым раздражением — эта накрашенная телефункционерша, смазливый попугай, наверное, вот так же несколько лет назад сообщала об очередной звезде выжившему из ума борцу за мир.

А Андрея выбрали членкором. Она же искала в этой новой жизни свой ход — и нашла: стала пробиваться в комментаторы, читала сутками все подряд, от обезумевших газет до недавно еще запрещенных философов, и уже однажды вела какую-то из новых, бесконечно болтливых передач и произвела прекрасное впечатление на участников, и какой-то старикан в неприлично модном пиджаке и с легко летающими вокруг пергаментно сухой плечи белыми волосиками, дружески наклонившись к ее уху, когда на мониторах шла информационная перебивка, спросил: «А вы, милый друг, у хозяина почалиться-то успели?» — видимо, совсем потеряв реальные представления о возрасте, поскольку, как удалось у него же шепотом выяснить, темная фраза на лагерном языке означала именно сидение в лагере.

Словом, в новой жизни стало не хуже. Хозяйство, правда, вести было все труднее, с едой делалось все больше сложностей, но свекровь взяла дочку уже почти на полный пансион, Андрей, когда бывал дома, — а все чаще где-нибудь в Штатах, — ел в столовых, в институтах, на приемах у шефов непрерывно открывающихся фирм, а она сама почти каждый день — с этими новыми хозяевами жизни, бывшими диссидентами и заключенными, бородатými, усатыми, длинноволосыми, легкомысленно одетыми — в неприлично дорогих кооперативных забегаловках и обжорках, полутемных и, как она ощущала, полуприличных.

Весной ее пригласили участвовать во встрече европейской общественности — такое примелькавшееся лицо было, конечно, необходимо организаторам для полноты

картины. Толпы модных политических людей бродили по гигантскому и нелепому вестибюлю огромной гостиницы на окраине, в конференц-зале сидело с сотню безумных старух и американцев, остальные ждали перерыва и болтали. Кто-то познакомил ее с каким-то: среднего росточку, среднего сложения, с неприметными чертами лица — впрочем, вполне правильными, если присмотреться. Одет был элегантно, в руках вертел, почти никогда не надевая, круглые, в стальной оправе очки, смотрел все время в пол и немного в сторону — только и глянул в глаза, когда знакомили. Она удивилась: до чего же прямо глянул, не нагло, но откровенно, не противно, но вполне определенно, и при этом до того добро, что сначала, изумленная, даже не расслышала, как представили. Какой же я писатель, поправил он, это Тургенев был писатель, ну, может, еще Панферов, а я... сочинитель. Так, выдумываю истории для утехи голодной публики. Она не почувствовала иронии, такая манера говорить ей была совершенно чужда. Андрей в разговоре с нею был сух, Валерий Федорович — или высокопарен, или груб, а давние и теперешние знакомые, начиная с Олега и кончая нынешними политиками, между собой говорили в нормальной интеллигентской стандартношутливой манере, но, обращаясь к ней, становились почему-то серьезны, галантны и даже слащавы, и она думала, что по-другому с дамой и нельзя.

А он говорил все время хотя и с легкой, но агрессивной иронией, причем ирония была одинаково направлена на всех участников тусовки — слово бешено вошло в моду — на него самого и даже на нее! Ее немного коробило, но было интересно, кроме того, он как-то удивительно слушал — не поддакивая, но всем видом поддерживая ее в каждой фразе, и она незаметно стала говорить с ним о том самом и, по сути, единственно для нее интересном, о чем поговорить было не с кем, — о себе самой.

Начался перерыв, обедать они пошли вместе, и в гуле общего застолья — ресторан обслуживал, конечно, только участников — она все говорила, говорила, говорила, а он все слушал, вставляя иногда: «Да я и сам не из благородных, матушка...» или «Ну, мать, ты даешь...» — и она уже привыкла к этой полуусмешке, стала понимать, что это от неловкости, от боязни обнаружить больше доброты, чем принято. И говорила бесконечно.

## МОСКВА. АВГУСТ

Стояли жара и сушь. Естественно, все припоминали, когда именно стояли такая же жара и сушь, сходились на знаменитом семьдесят втором, когда все горело и по Красной площади полз сизый торфяной дым, а относительно других, более поздних годов спорили — то ли восемьдесят первый, то ли третий...

Жизнь шла, собирались митинги, в метро больше обычного пахло потом, потому что дезодоранты исчезли напрочь и, видимо, навсегда, и отключали, как обычно, горячую воду. В метро ехал парень с длинным древком, обернутым флагом, — непонятно каким, но не красным. Над Лужниками собиралась гроза и рассасывалась, будто смущенная толпами. И еще можно было иногда купить чего-нибудь поесть и выпить...

Жаркая стояла погода в августе.

Едва наметившаяся под животом складка намокала потом, соленый его вкус оставался во рту, потные волосы спутывались, невозможно было толком вымыться под ледяным душем, и они разъезжались, влажные, а в метро казалось, что другие, тоже потные, все же чувствуют этот несправедливый пот. С тобой невозможно ездить, тебя все узнают, хоть бы ты перешла на радио, что ли... Ну я же не виновата, это профессия, зато тебя знают по имени, если бы они догадались, кто едет со скромной дикторшей, вовсе не было бы проходу... Перестань. Это ты знаменитая, а я просто удачливый, за сценарии хорошо платят, но все это скоро пройдет, деньги ничего не стоят, и ты меня бросишь. Тебе не стыдно? Это ты меня бросишь, начнутся съемки, ты уедешь — вот и все. Или она вернется с юга, почувствует что-то неладное, устроит тебе скандал — и ты перестанешь мне звонить, устанешь от скандалов... Хватит, замолчи. У тебя есть еще минут сорок? Выйдем здесь.

Шли в парк. Между деревьев была влажная духота, где-то, совсем близко, мелькали тени людей. Забирались в полусгнившую не то беседку, не то сторожку у пруда. Ее сумки лежали на полу, тонкая скользкая юбка норовила съехать на положенное место, белела кожа, живот чуть провисал, приходилось неловко подгибать колени, на мгновение возникала ясная и простая уверенность: «Это безумие, мы оба безумны» — и уже все рушилось, ломалось, исчезало все, утрачивалась даже способность — необходимая для безопасности! — непрерывно следить за окружающей обстановкой. Потом ночь и тени в ночи возвращались. Вместе, изумленно сияя в темноте друг на друга глазами, — ее светились уж совсем сверхъестественно — они поправляли одежду и бежали назад к метро. Парк шумно дышал вокруг ночным неровным дыханием.

...И садился самолет на военном аэродроме, и вытаскивали из него длинные ящики из хорошо пригнанных досок с аккуратно просверленными дырками, и трейлер «Совтрансавто» тормозил у бетонной ограды военного городка на окраине столицы, и из багажного вагона поезда, прибывшего на Белорусский, вытаскивали огромные картонные коробки, ставили их на тележки, а носильщики под строгим наблюдением ребят в аккуратных летних рубашках везли эти коробки к военным «газикам», на площадь...

Что же это такое ты придумал, любимый? Неужто не страшно тебе? Ради Христа — сохрани нас, не убивай! И пусть эти твои злыдни, звери вообще перестанут убивать и мучить женщин и мужчин, любящих, пусть уже будет всем хорошо, если невозможно, чтобы хорошо было нам! Придумай счастье, милый мой мальчик, придумай счастье для всех — и, может, нам достанется тоже, хотя бы немного...

Я постараюсь.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ.**

### ***ОСЕНЬ — ЗИМА***

По сути дела, все было предсказуемо.

Банальнейшая из истин — что имеет начало, имеет и конец — есть самое неприятное правило, по которому до нас жили, мы мучаемся, и после нас, покуда не изведутся люди, будут они страдать, терзаться и друг друга терзать. Осознавшие свою временность и сразу ставшие навеки несчастными существа...

Проходят годы — а иногда бывает достаточно и месяцев, — и казавшееся единственным, наконец и навсегда достигнутым, бесконечно прекрасным и необходимым становится столь же скучным, докучливым, доставляющим счастья не больше, чем утренняя овсянка. И все начинается сызнова — неосознанный поиск, бесконечно подворачивающиеся случаи, романтические ситуации... В сумерках валит снег, невнятно бормочет мотор, наезжает, стелется дорога, в машине тепло, ехать еще долго. И ты говоришь: «Представляете... если бы в конце пути нас ждал дом в снегу, камин, немножко выпить, посидеть у огня... и уж не расставаться... и знать, что еще будет утро, и дорога назад, и снова куда-нибудь ехать, лететь, и так вечно...» И теплая, час назад еще совершенно чужая, и потому сейчас необыкновенно близкая, необходимая, почти родная рука трогательно ложится на твое колено, и ее тепло чувствуется сквозь ткань, и спутники делают вид, что ничего не видят. Через месяц — да, всего через месяц, трудно представить, как все меняется за один только месяц, — жизнь уже несется вскачь, в сердце возникает томящая боль, даже приходится пить валокордин, глаза то и дело постыдным образом оказываются на мокром месте, и счастье, снова вполне незамутненное, новорожденное счастье наполняет день с самого утра, и в какой-то трезвый миг говоришь себе — да успокойся же, очнись, это просто ощущение начала, это новизна, это острота, если уж быть до конца честным, и ничего больше, очнись же, старый придурок, или мало учен, мало мучил и сам мучился?

Поздно. Счастье уже при тебе. Как говорили в детстве, меняясь марками, монетами, перышками, ножами, патронами: тронутое считается купленным. И за счастье, пока едва тронутое лишь краешком сердца, предстоит платить, и ты хорошо знаешь, чем.

Жизнь раздваивается, и уже очень скоро шизофреническая ревность становится как бы телом счастья, а душа счастья, то есть горячая поглощающая сладость, блаженное окончание мук — это все оказывается, как и всякая душа, скрыто глубоко и трудно досягаемо. Неразрешимость, бесперспективность, жажда и необходимость новой стабильности и ее очевидная невозможность становятся навязчивой идеей. С бессмысленной настойчивостью сумасшедшего изобретателя ты ищешь решения, веря в его существование просто потому, что ведь иначе тебе будет очень плохо, а за что? Представить и тот и другой разрыв становится все более невозможно, жизнь прорастает в обе стороны, как дурной ноготь, и продолжает расти, причиняя страшную боль. И обрезать нельзя — вросло, и не обрезать нельзя — продолжает расти, раздирая живое... Водевильное слово — адюльтер.

Она плакала, и все становилось более и более непоправимо, потому что она уже охрипла, а вечером должна быть важнейшая передача, она готовилась к ней чуть ли не полгода, теперь она будет распухшая, и может пропасть голос, потому что несмыкание связок — это возможно в любую минуту, все ходят под Богом, любой певец, актер это знает и предпочитает не задумываться, как о смерти, потому что несмыкание — это

конец почти всегда... Она плакала, горько, и он ничего не мог сделать, потому что нужно было остановить слезы, это главное, объясниться можно потом, и он просил прощения, ради Бога, ну, перестань, ну, милая, солнышко, ну, перестань же, зачем ты мучаешь себя, все это выдумка на пустом месте, ты себя просто заводишь, ну, я тебя прошу, нет же никакой серьезной причины, я тебя люблю, я тебя очень люблю, перестань, перестань же...

Она все плакала. Ты ведешь себя, будто меня не существует, будто меня можно в любой момент включить, завести ключиком, а потом выключить, и меня нет, все в порядке, а я так не умею, ты, видно, думал, что можно найти такую, которая сумасшедшая только в постели, а как оделась, так и рассудительность, так и спокойствие, да? А я вообще сумасшедшая, и лучше брось, оставь меня! Милый, оставь меня...

Слезы были, как сама любовь — чем дольше, тем невозможнее прервать, тем отчаянней и безнадежней, уже нельзя было поверить, что может не кончиться полным разрывом. Но не мог поверить и в разрыв, потому что, чем дольше длилось, тем разрыв был непредставимее, слишком много уже было вложено, разрыв становился все больше подобен смерти, прекращению жизни...

А выхода не было никакого, потому что причинить острую боль там, где и без того уже безусловно виновен, преступен, вообще невообразимо. В конце концов, казалось бы, там-то уже пусто, и потому можно все — но выходило наоборот: ничего нельзя. Недовольный взгляд, недомогание, несчастье чувствовались как смертная вина, истинный грех. Здесь был не долг, здесь была кровная связь, родство. Хотелось освободиться, но освободиться от Ольги было так же нереально, невыполнимо, как освободиться от своего тела. Тоже неплохо бы, да как?

Ты со своей Оленькой против меня, проплакала она, и он понял, что это просто истерика, она никогда не говорила об Ольге так зло. Ее уже трясло. Вы оба идете на меня войной, вы защищаетесь от меня, Боже, ты от меня защищаешься, что же ты говорил, разве это та любовь, о которой ты говорил? Ты ее жалеешь, а меня любишь? Нет, ты с ней заодно, а от меня вы защищаетесь, Боже, я не могу так!..

Это несправедливо, я же просто хочу избежать катастрофы, ты ведь тоже не можешь бросить его, Андрей этого не заслужил, ты ему обязана, ты сама говорила о долге перед ним, и дочка, ты же сама говорила, вот и я тоже... Ее нельзя, понимаешь, нельзя оставить, понимаешь?!

Я... да я разве прошу ее оставить?! Что ты говоришь?! Как тебе не стыдно мучить меня? Разве я когда-нибудь покушалась на твою семью? Я знаю свое место — распутная бабенка, — но зачем еще ты его мне указываешь?

Ничего не получалось. Она бросала трубку, он хватал такси, мчался встречать после передачи. И все снова было прекрасно, глаза сияли, люблю, люблю, ничего не хочу, только не бросай меня, — но уже через полчаса все заводилось сначала, обвинения, обиды, счеты... Все портилось на глазах...

В октябре начинались съемки, уже были паспорта и визы. В конце октября должна была уехать и она: на месячную стажировку в Японию. К этому времени у нее уже был прекрасный английский — независимо ни от каких переживаний она делала все, за что ни бралась, старательно, результата добивалась блестящего и быстро. Услышала от



него новое слово и повторяла несколько раз в постели: «Я перфекционистка».

Постели, собственно, не было. Только раз удалось все в той же мастерской, и этот раз был испорчен: пришел хозяин, позвонил. Лихорадочно шепчась, одевались, хозяин, будто смущенный, но, кажется, чем-то и довольный, ждал у подъезда, когда вышли, деликатно отвернулся. Она, вся в красных пятнах, неловко поправляя поднятый воротник, стояла за углом, пока он отдавал ключ. В такси ехали почти молча, поцеловались на прощание быстро и сухо, он будто в бумагу ткнулся губами. Потом долго, ласково прощались по телефону, и еще из аэропорта он звонил и клал трубку — все время подходили то дочь, то свекровь. Ольга ждала у тележки с чемоданами, безразлично спросила: «Ну что, на студии не отвечают?» — он просто промолчал.

Вот и все, думал он, пока старательные стюардессы возили столики на колесах и раскладывали подносы с убогим по международным, но шикарным по отечественным меркам завтраком. Вот и конец, думал он, расплачиваясь из тоненькой пачки долларов за пластиковую фляжку виски и сворачивая с нее крышку. Конец жизни, это неизбежно, но тяжело, хорошо только, что его можно так скрасить, думал он, прислушиваясь к первому горячему глотку и закрывая глаза, это вроде самоубийства в ванне, уют горячей воды, и надо закрыть глаза, чтобы не видеть, как она окрашивается темно-розовым, как толчками выбивается под ее поверхностью кровь из вены. Наступает жизнь после смерти, Ил-62 неплохое средство для форсирования реки Стикс, и там, потом, еще будут прекрасные картинки парадиза.

Посмотрим, что они там наснимают, думал он, как они там устроят натуру для моих ребят. Интересно, какой получится у этого американца Сергей и кого они нашли для Олейника и для Юры...

Мы будем там играть, думал он, и постановочная группа будет мучиться с эффектами, и всем будет казаться, что это уже почти настоящее... А ребята будут париться в Заволжье, и редкий снег будет змеиться по замерзшим колеям, и ночью тепло будет кончаться в метре от батареи, а в темной казарме будет стоять ледяное удушье.

## СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ. НОЯБРЬ

Брызги жидкой глины, выбитые «Уралами» из глубокой колеи, застыли и торчали сквозь редкий, непрестанно сдуваемый снег острыми иглами.

Шли по обочине. Сзади приближался, нагонял истеричный, сбивающийся на визг рык мотора. Виляя и дергаясь, чтобы не ввалиться в непроходимоглубокую, по мосты, колею, подъехал ГАЗ-66. По низким металлическим бортам хлопал плохо закрепленный, в засохших потеках грязи брезент, откидывающаяся кабина дергалась и дребезжала. За рулем сидел солдат в затертой до белизны синей куртке с меховым воротником и по-дедбельски сдвинутой на брови маленькой ушанке из свалявшейся до войлочной плотности искусственной серой цигейки. Рядом с шофером сидел Барышев — как всегда, словно картинка из альбома форм, на этот раз почему-то в парадной светлосерой шинели, в фуражке с витым золотым шнуром и «капустой» вокруг кокарды. Щеки его матово светились ровным, чуть коричневатым румянцем,

ясные, до каждой реснички промытые глаза смотрели весело и спокойно. Ему можно было дать лет двадцать пять, подполковничьи погоны выглядели маскарадом.

— Бойцы! — приоткрыв дверь, он слегка склонился с высоты. Почти на уровне их глаз оказался сияющий сапог с ровным высоким голенищем, острым носом — в столичном еще округе, видать, в академии полученный, парадный, для ежегодных прогулок мимо гранитного морга. — Здравствуйте, товарищи солдаты... Куда двигаемся? Кто старший?

Если бы про старшего спросил другой, можно было бы принять за нормальную шутку, но Барышев не шутил никогда — органически был не способен. Сергей молча отвернулся, ткнул сапогом глиняную колючку, еще раз ее поддел — обломанную... Юра застыл неподвижно, по привычно вернувшемуся солдатскому правилу: как только нет нужды двигаться — расслабиться и застыть. Руки он держал в кармане бушлата, воротник поднял, тесемки от опущенных наушников чудовищно мятой солдатской шапки болтались вдоль нечисто — только под утреннюю поверку — выбритых щек.

— Олейник, я спрашиваю, кто старший? — Барышев не повысил голоса, продолжал смотреть спокойно, все больше становясь похожим на человека с плаката по ношению формы. — Вопрос не понятен?

— Старший не назначен, товарищ подполковник, — негромко сказал Олейник. Он стоял ровно, так что можно было бы при желании считать это строевой стойкой, но он стоял ровно всегда. — Группа направляется на третью площадку для занятий. Докладывает капитан Олейник.

— На вас знаки различия рядового. — Барышев чуть откашлялся. — Вам звание не возвращено, Олейник...

— Так точно. Виноват. — Он приложил ладонь к ушанке. — Разрешите идти?

Сергей сбил сапогом вторую глиняшку, она полетела вдоль дороги, распалась на мелкие комки. Юра стоял, глядя в землю.

— Садитесь, я тоже еду на «тройку». — Барышев чуть двинул головой назад-вбок, показывая на кузов. — Сегодня у вас занятия со мной, я не хочу вас ждать...

— Сука, — сказал Сергей. В кузове было пыльно, ледяной брезент все хлопал, их бросало на каждой выбоине. — Какая ж сука! В Кандагаре он бы покрасовался...

— Брось, охота тебе... — Юра и здесь старался не двигаться и даже не держался, руки из карманов не вынул, сел сразу на пол у кабины, чтобы швыряло меньше, и при толчках только голову втягивал. — Не реагируй. Все ж ведь ясно, чего дергаться? Будешь дергаться — не выживешь...

— Учитель... Мне раввин не нужен, понял?! — Сергей было заорал, но Юра поднял глаза, глянул, и Сергей осекся, полез за сигаретой, долго прикуривал от дергающейся спички. — Ну, прости, сорвалось... Ты ж знаешь, я не по этому делу... Юр!..

— Не собачьтесь, мужики. — Олейник тоже сидел на полу у кабины, ноги подтянув к груди, упираясь каблуками в пол, сигарету держал в едва шевелящихся губах, не вынимая, а ладони спрятал, обхватив себя под мышки. — Барышев впервые будет сам занятия вести, поняли? Соберитесь, это если еще и не зачет, то что-то

серьезное. Я его знаю, я вам рассказывал — у нас более профессионального киллера не было, ясно? Надо собраться...

Машину швыряло, железный кузов гремел, носилась под брезентом морозная пыль... И нельзя было представить никакого другого мира — кроме этой серой степи в лишаях снега, серого неба в лишаях облаков, колеи метровой глубины, мути поверх всего — и холода, холода, холода... Такого же постоянного, как грязь.

Сергей приподнял край брезента, бросил окурок, плюнул:

— Родина, мать бы ее в гроб!

И прикрыл глаза.

## 2

Группу уже было просто невозможно выносить. Он неделю терпел, на площадку являлся точно вовремя, то есть раньше всех, стоял без всякого дела в сторонке, разглядывая зевак, которые разглядывали русских, снимающих свое кино с натугой и без улыбок. Но как бы он ни был, ему казалось, тих и незаметен, а кто-нибудь обязательно подходил, заводил полный убогого яда разговор. Чаще всего это была хорошенькая, но низкорослая и расплывшаяся, будто осевшее дрожжевое тесто, дама — редакторша Леночка. Говорили, что муж этой пятидесятилетней Леночки был огромное начальство где-то в науке, но это ее не утешало, она ненавидела всех, кто бывал за границей больше ее, и даже всех, кто оказался за границей сейчас, вместе с нею, это казалось ей несправедливым. Впервые, говорила она, случилось такое: сценарист едет с группой, да не куда-нибудь в Крым, что тоже неплохо, а в Париж, с ума сойти! Причем с женой! Так ведь она в счет моих постановочных, робко перебил он. Ну конечно, согласилась она, вы ведь у нас теперь знаменитость, звезда, против вас никто слова не сказал, и я считаю, что это вполне справедливо, должен ведь и любой автор, даже начинающий, вы ведь все-таки, извините, начинающий, что-нибудь получить... Поговорив так минут пятнадцать, она исчезала до вечера и появлялась только в гостинице на ночных планерках у Редько. Михаил Антонович, заявила она в тот вечер в первой же паузе, — когда Редько, наоравшись, на забаву французским горничным, тяжело глотал пиво, — а мы, например, сегодня беседовали — тут она кивнула в сторону, приглашая в союзники, — и пришли с автором к выводу, что в три съемочных дня нам с этим эпизодом не уложиться. Это совершенно однозначно... И она решительно закурила, сразу выпустив огромное количество дыма.

Хотелось умереть. Все-таки не выдержал, возразил: разве мы говорили об этом, Леночка? Я бы никогда не взялся судить, уложимся или нет. Я не специалист и вообще не очень представляю, что это такое — съемочный день, да меня это и не должно касаться, я здесь не для этого, я здесь...

И замолчал, потому что действительно было непонятно, для чего он здесь. И все молчали. Редько сделал вид, что ничего не заметил.

На следующий день услышал, как Леночка говорила на чудовищном английском с Бернаром, оператором — милейшим, абсолютно бессловесным и, судя по его

предыдущим фильмам, очень талантливым парнем. Леночка объясняла ему, что триллер не в традициях русской литературы, что серьезный писатель не гоняется за коммерческим успехом и не станет проводить время, отираясь в группе, экранизирующей его модную, но совершенно пустую вещь. Лишь бы за границу поехать... Зэй лост зе шэйм, ауэ райтерз, Бернар...

После этого на съемки ходить перестал, шатался по городу. Трещал пыльный гравий на Елисейских полях, солнце картинно садилось в Триумфальной арке, со стройки перед Лувром ехали грузовики, там росла стеклянная пирамида. Чтобы не пачкать улицы, грузовики выезжали по гигантским щеткам, положенным щетиной вверх, — обметали от строительной пыли колеса...

Любимый маршрут был длинен, и никто из постепенно появляющихся французских знакомых не верил, что они несколько раз проходили его с Ольгой пешком. Шли, привычно переговариваясь — ну почему этого, и этого, и этого у нас нет и быть не может? — и, как всегда, посмеиваясь над собой: именно за границей русские особенно счастливо предаются национальному мазохизму, и все, от качества и, главное, наличия пива до чистоты в подъездах, не радует нормального русского путешественника, а огорчает сравнением с отечественным безобразием. Мирный разговор переходит в мирное же молчание. Шли, наслаждаясь миром, взаимопониманием, во всяком случае — Ольга. Здесь, во Франции, ее жизнь выравнивалась, она ощущала свое спокойное и уверенное существование, постоянно присутствовавшая в ее московском житье тень угрозы, неопределенность исчезали: он был все время на глазах, все время занят, а люди вокруг были чужие, и отношения его с ними не вызывали ревности.

И его тоже на какое-то время охватывал покой. Разглядывал прохожих, витрины, бесконечные ряды машин вдоль тротуаров, привычно запоминал детали и радовался узнаванию того, что было известно и памятно с давних платонических времен, с картинок в «Popular mechanic» и карикатур в «Крокодиле», с описаний в романах, публиковавшихся «Иностранкой». Рядом с «ягуаром» жался умильно интеллигентный и хипповый «ситроен-дош», разрисованный вишнево-черной загогулиной... Немолодой твидовый джентльмен, на ходу откинув полу длинного пальто, совал в карман толстую газету... Деловая дамочка спешила куда-то на сильно кривых в коленях, тонких ногах, и сумка-портфель крокодиловой кожи колотилась на ее бедре, кости которого выпирали из-под классической юбки в клетку "пепито"...

Маршрут был просто гигантским: от вокзала Сен-Лазар, рядом с которым было главное место съемок, к Большим Магазинам, сделав небольшой крюк через улицу Будапешт, по одной стороне которой стояли черные проститутки, а по другой их сутенеры, и идти было неудобно: через пассажик между двумя зданиями Галери Лафайет, мимо маленького камерного оркестрика, всегда играющего рядом с распродажей спортивного трикотажа и одеял, мимо парня, изображающего под магнитофон, взгромоздясь на урну, оживший манекен; потом к Опере, к тяжелой, питерски-мрачной колоннаде Мадлен; на Конкорд; по пыльным, лишенным тени аллеям Тюильри к Лувру; через его двор, сквозь узкий проходик в углу на мост Академии; наконец, на улицу Сены — и, не чуя ног, сесть за стаканом пива в успевшем стать любимым кафе «Ля Палетт», одном из самых понтырских мест Левого Берега. Раскланяться с мгновенно впавшим в приятельство русским художником в бирюзовом пиджаке, розовой рубашке и сиреневом галстуке — все сочталось, черт

его дери, все! Вышел он из беглых, с какого-то торгового советского корабля, матросов, уже здесь начал рисовать — и за двадцать лет стал вполне парижским профессионалом жизни с художественным уклоном. Вместе с ним закурить, конечно, «житан»...

Ольга сидела рядом, наслаждаясь безопасностью, хорошей жизнью и пампльмусс джюсом. Воздух имел принципиально другой оттенок, чем в Москве. Здесь совершенно не было расплывчатого золотисто-сиреневого, четкий серо-синий определял все — окраску стен, неба, тротуара и интонацию речи.

Думать, что полностью прожил отпущенное, угомонился, впереди только работа, — и влюбиться впервые, понять, что до этого не было ничего, совершенно ничего; что все женитьбы, связи, приключения были не до конца, не на полную катушку, не всерьез; что и не знал, насколько пошло может совпадать ежедневная реальность с литературой самого банального, самого сентиментального толка!.. Боже мой, думал он, этого же нельзя представить — что будешь действительно мучиться не где-нибудь, а сидя в парижском кафе! Что отношения перестанут быть игрой и станут жизнью — реальной не меньше, чем боли в подвздошь. Что иногда даже будешь не в состоянии наблюдать процесс — настолько погрузишься в его глубь, насколько будешь в потоке...

Он заметил, что плачет. Совсем дошел... Не умею курить, не вынимая сигарету изо рта, объяснил он Ольге: слезы от дыма. Пойду позвоню в гостиницу, узнаю, не оставлял ли мне месседж Редько.

Он встал из-за столика, перешел маленькую площадь, вошел в будку с поворотной стеклянной дверью, сунул в щель телефонную карточку, закрыл шторку щели...

На экранчик высыпали нули и отдельно цифра 69 — столько франков оставалось на его телефонной карточке... набрал код международной — 19... на экранчик выползло 19...

Советский Союз — 7...

7 на экранчике...

Москва — 095...

095...

номер... прорвался с первого раза, раздался внятный длинный гудок..

Ответил муж.

Господи, сказала Ольга, здесь можно просидеть остаток жизни! Идем, сказал он, пора спать.

## СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ. НОЯБРЬ

От холода, ветра, тоскливой пустоты было только желание сжаться, сесть на корточки, не двигаться, холод давил, как враждебный взгляд, заставлял искать незаметности.

Но они шли быстро и непрестанно. Это отличает опытного солдата, вора,

заклученного — умение заставить себя действовать как бы отдельно от собственного состояния. Как бы направить вместо себя в дело подчиненное существо — свое тело, или свой мозг, или то и другое.

Им почти не приходилось разговаривать, теряя время на обсуждение плана, — они поняли друг друга быстро и почти без слов. Сработал опыт каждого в отдельности и пять недель общих занятий в холодных унылых классах.

Занятия вели странные люди.

Был капитан в общевоинских погонах, с непропорционально огромной головой, с вогнутым, как у идола с острова Пасхи, лицом. Прилизанные волосы не прикрывали широкую лысину, маленькие и очень близко поставленные голубые глаза всегда гноились в уголках, как у медведя. Мундир был весь в белесых пятнах и сидел нелепо на квадратном, шириной в сейф, торсе. Капитан не признавал спортзала и вел занятия в небольшой комнате, заваленной полусломанными столами и стульями. Мундира он не снимал. Сергею на второй день едва не сломал челюсть, несмотря на то что курсанты были в защитных боксерских шлемах. Юра сделал над собой усилие, вышел на середину комнаты — и успел схватить ножку стула... Но капитан чуть дернул чудовищной башкой, ножка скользнула по прилизанным волосам и опустилась на погон с малиновым просветом; погон оторвался. «Молодец, еврейчик, — сказал капитан, — не боишься...» Подвигал плечом под оторванным погоном — и, почти не пригибаясь, двинул Юру левой в низ живота. С бушлата, который Юра получил разрешение не снимать из-за склонности к простудам, полетели пуговицы. Юра пригнулся, и капитан, занеся над его затылком сцепленные в замок руки, сказал: «Удар обозначаю. После удара тело противника должно быть уничтожено, потому что причина смерти может быть установлена...» Сергей сидел на полу, закинув голову, чтобы остановить кровь, Юра кашлял и хрипел. Капитан усмехнулся: «Мой они знают, сразу поймут, кто учил...» Олейник уже подходил к нему. Капитан смотрел на него, все еще усмехаясь. Усмешка еще была на его лице, когда он лежал в углу, а Олейник стоял над ним, обозначив ломающий горло удар ногой. «Ты на занятия больше не ходи, — сказал капитан, не пытаясь встать. — Ты дерешься хорошо, я в следующий раз отвечу полностью, потом за тебя не отчитаешься».

Приходил человек в камуфлированной полевой форме, но без знаков различия вообще, красавец, в котором Сергей долго пытался узнать своего знакомого, а потом сообразил, что парень просто одно лицо с Полом Ньюменом. Красавец был молчалив и только тихонько мычал про себя невнятную мелодию, когда готовился к стрельбе или рассматривал измочаленные мишени. Стреляли и в тире — в холодном ангаре, в котором никогда не оседала белая пыль осыпавшейся штукатурки, и на открытом стрельбище, туда топали полчаса по грязи, красавец приезжал на «Волге» с солдатом за рулем. Шел к траншее, держа в левой руке за ремни «калашников» и М-16, в правой — большой рюкзак с патронами россыпью и снаряженными рожками. Однажды Олейник отстрелялся хуже обычного; чувствовал себя плохо, видимо, подскочило давление — накануне опять пытался выяснить у Барышева хоть что-нибудь о Гале, но тот отвечал, как магнитофон: «Вам будет сообщено, когда положено... Продолжайте занятия... Вам будет сообщено...» И на стрельбище никак не удавалось наладить дыхание, в голове стучало, особенно остро и отвратительно чувствовался запах выстрелов... Он всадил две короткие очереди из «калашникова» в самый верх мишени. Красавец глянул на него брезгливо, взял автомат в одну руку, повел стволом

— и через минуту солдатик бегом принес щит. Мишень была перерезана ровнейшим крестом, пули легли, как по линейке, и даже расстояния между пробоинами были примерно одинаковыми. А красавец еще раз приподнял автомат — и на следующем щите пули нарисовали круг. Он переложил автомат в левую руку, расстегнул кобуру, всегда висевшую у него на поясе, и наконец обнаружил ее содержимое — никелированный ТТ. Огляделся... Ровный серый свет лился на грязный пустырь стрельбища, на разбитую дорогу и серо-зеленое поле вокруг. Вдоль дороги тянулись, провисая и взлетая к столбам, провода, метрах в ста на них нотами расселась стайка воробьев. Красавец поднял пистолет, выстрелил три раза. Три растрепанных комка полетели на землю. «Занятий сегодня не будет, вы не готовы», — негромко сказал красавец и пошел к «Волге», таща за ремни оружие.

Вождением занимался совсем молодой малый с простоватым испитым лицом пэтэушника, в облупленной летной кожаной куртке и солдатских штанах, заправленных в нечищенные хромовые сапоги, смятые гармошкой на сверхъестественно кривых ногах. Водили грузовой ЗИЛ, «уазик», «Волгу» со специальным двигателем, полицейский БМВ — по бетонке, асфальту, самому разбитому проселку, по полю в сгнившей стерне, среди мертвых деревьев редкой рощи... Перелетали на «Волге» метровую траншею. Въехав правыми колесами на эстакаду, специально переворачивались на грузовике. Лучше всех получалось у Юры, мотоциклетный навык сгодился. Сергей ничего не мог с собой поделаться — боялся. «Мать твою в кудри, — сказал малый, — из тебя водила, как из говна пуля...» Выпихнул Сергея из кабины, рванул к эстакаде. Перевернувшись, ЗИЛ встал на смятую крышу кабины, заскользил, скребя по дороге и разворачиваясь вперед кузовом. «Эй, — заорал малый через открытое окно, — сюда идите, салаги! Смотрите, как люди ездят...» Он висел в кабине вниз головой, упершись коленями в приборную доску, руками в прогнувшуюся крышу. «Понял, что главное, кудрявый? — обратился он к Сергею и сам ответил: — Главное не бздеть, в кабине и так душно».

С Юрой еще отдельно занимался радист, невысокий, складной майор в модных очках. Металлическая оправа оставляла на тонком носу красные вмятины, заметные, когда он, сняв очки и низко наклонившись, наблюдал за Юриными руками. Однажды Юра, почувствовавший к этому интеллигентному парню и блестящему профессионалу симпатию, пошутил: «У них здесь связь — черта оседлости, да, майор?» И встретился с таким неистово ненавидящим взглядом близоруких карих глаз, что осекся. «Из-за таких, как ты, — тихо сказал майор, — меня в училище принимать не хотели... Из-за предателей... Я к Арафату присился, понял? Я вас ненавижу, всех...»

С Олейником стал заниматься азиат, не то киргиз, не то кореец, работали в спортзале, в кимоно, но иногда и на воздухе, в полевой армейской форме. Уровень восстанавливался быстро, однажды азиат проиграл вчистую, и Олейник, к собственному удивлению, пришел в хорошее настроение. Все нормально, подумал он, Галя жива, я жив, значит, все еще можно сделать, поправить, я их сломаю, они еще ни разу не одолели меня до конца, я всегда выползал... Он поклонился азиату и пошел к казарме, повторяя про себя: «Галя жива... Галя жива...»

В казарме, в огромном зале, заставленном рядами пустых коек, из которых застелены были только их три, да еще три, стоявшие с ними вперемежку, — на этих спали трое человек явно не призывного возраста, но обмундированных в обычное, солдатское — в казарме они почти не разговаривали между собой. После занятий не

было сил, при надзирателях не имело смысла, да и без разговоров все было ясно. В субботу, после обеда, шли в штабной двухэтажный кирпичный барак. Сиделись у стола, неотрывно глядя на простой телефон с треснутым диском. Раздавался звонок. Первым брал трубку Олейник, а соединяли первой почти всегда Юльку. Лицо Сергея приобретало зеленоватый оттенок, как обычно бывает у рыжих, когда они бледнеют. Двое выходили в коридор курить — до короткого звонка отбоя. И снова звонил телефон, и снова...

Все были живы, сыты и здоровы. Юлька матом не ругалась, говорила только по-английски и всегда об одном и том же: ей ничего не нужно, она вполне легко терпит, пусть Сережа не волнуется, конечно, она кошка, но даже кошка от испуга может забыть о своем естестве... Naturally, I need... but not so extremely, You see? Honey, believe me, this true... love — after. You see? I fuck such shit, like love, without you...

Ютта говорила спокойно, коротко, давала трубку Конни, парень говорил, что у него все в порядке и он уже подтягивается на притолоке двенадцать раз, потом Ютта брала трубку снова — только чтобы закончить разговор: «Gott sei mit dir! Yurik...» Когда Сергей и Олейник входили в комнату, лицо Юры было мокрое, все, сверху донизу, как будто он умылся, не вытираясь. Он доставал платок и вытирал слезы, не отворачиваясь.

Галя почти не плакала, только повторяла: «Володя... Володенька, ты не болеешь? Не болей... Володя...» Однажды вместо нее он услышал приятный женский голос с заметным южным выговором: «Владимир Алексеич? Та вы не волнуйтесь, у Халы все в порядке, просто охрипла немножечко, так просила позвонить, а через недельку она сама вам все расскажет, и еще просила поцеловать, так я вам и передаю же...» Потом Галя выздоровела, но как раз в ту неделю у него звенело в ушах, и, когда работал с азиатом, перед глазами плыли цветные круги.

...Теперь они шли по пустынной дороге — три человека, слишком легко одетых для конца ноября. Первым шел Сергей. Его рыжие кудри были скрыты туго натянутой вязаной шапкой, зеленая полувоенная куртка застегнута до горла, джинсы заправлены в высоко зашнурованные желтые ботинки. Слева куртка топорщилась — там под ней висел стволom вниз «узи», он выбрал его, а не «калашников», и это был его последний жест отвращения к стране. Старшина-оружейник хмыкнул и выдал автомат. Карманы куртки были набиты магазинами — больше он не взял ничего.

Юра шел вторым. На нем была черная нейлоновая шапка с длинным козырьком, широкая короткая кожаная куртка на меху, черные спортивные штаны-шаровары и высокие кроссовки. В левой руке он нес длинную спортивную сумку. Из-под шапки провод наушников незаметно тянулся под куртку, да если бы кто и заметил, решил бы, что парень, по виду обычный фарцовщик или качок, слушает на ходу вокмэн, наслаждается Розенбаумом или Токаревым. Но провод тянулся к мощной рации, висящей на Юриной груди, и в наушниках непрерывно повторялось: «Восемьсот сорок один, семнадцать, девять... восемьсот сорок один, семнадцать, девять...» Механический голос бубнил, и это означало, что все идет по плану, что двигаться в том же направлении с той же скоростью и готовность акции — полчаса.

Последним шел Олейник. Клетчатую английскую кепку он низко надвинул на глаза, руки глубоко сунул в большие карманы бежевого шерстяного пальто, легкие замшевые ботинки — любимая его модель, та самая, что была испытана еще



солдатами Монтомгери в пустыне, — он ставил твердо, и при каждом шаге отмечал про себя, что лучшей обуви для прыжка не найдешь — лучше работать только босиком. Но не в России в ноябре...

Они шли примерно метрах в тридцати друг от друга, и в наушниках Юры все бубнил тот же голос: «Восемьсот сорок один, семнадцать, девять... Восемьсот сорок один, семнадцать, семь...» Готовность была уже двадцать минут.

Сергей остановился, повернулся лицом назад — как бы от ветра — прикурил. Подошел Юра. Чуть ускорив шаг, подтянулся Олейник.

— Владимир Алексеич, — Сергей затаился, дал прикурить Юре, — как все-таки думаете, неужели правда, что работа на уничтожение? Неужели они своих подставят только для тренировки? Вы верите?

— Не то что верю. — Олейник сплюнул, бросил сигарету, задавил ее подошвой, помолчал мгновение. — Не то что верю... Уверен. Знаю точно. Своих? Да спорить могу, что именно своих они и подставят. Еще и объяснят им: группа опаснейших преступников, вам непосредственно командование поручило обезвредить... Вот другое дело, я удивляюсь, почему они нас не жалеют? Ведь они серьезно пахали, чтобы нас на родину приволочь. И здесь учили — будь здоров... Неужели ради тренировки они нас под автоматы подставят? Сначала не верил, а теперь понял: как раз логично. Если мы эту тренировку не пройдем, то мы им вообще не годимся, и тогда все равно вся их работа насмарку. А если пройдем — им за это никаких своих не жалко. Подумаешь, лейтенанта-другого мы замочим... Слишком серьезная у них готовится для нас работа, они, чтобы все проверить, и генерала подставят...

— Пятнадцать минут, — сказал Юра. — Пятнадцатиминутная готовность, все по плану, первый вариант. Отвечать?

— Ответь, — сказал Олейник, сунул руку в карман пальто и вытащил «кольт-45», — ответь, что дальше действуем сами, на связь выходим только после акции, если все будет удачно...

— А если неудачно? — Юра подвинул ко рту микрофон, закрепленный у него под подбородком.

— Если неудачно, некому с ними связываться будет, — сказал Олейник и, легко пружиня, как на стайерской тренировке, побежал к автобусной остановке впереди — все в трещинах и осколках две стеклянные стены под прямым углом и навес.

Тут же Сергей пересек дорогу и поднял руку, будто голосуя на пустом шоссе. Отвыкли мы все-таки от этой жизни, подумал Юра, руку поднимает, как настоящий хич-хайкер, большим пальцем вверх, в России голосуют совсем не так.

Он сам ссыпался в кювет, лег, расстегнул сумку, вытащил и уткнул в плечо упор короткой трубы гранатомета. Шум моторов уже был слышен.

...Первая машина взорвалась сразу. Вторая, ползя юзом и разворачиваясь поперек дороги, влетела в костер. Третья затормозила и на порядочной скорости поехала задним ходом. Сергей лежал, короткими очередями валя одного за другим выскакивающих из второй машины. Юра встал в кювете в рост, его гранатомет дернулся, но он не попал — в третьей машине только посыпались стекла, она остановилась. Сергей бежал к ней, он уже оказался без куртки, бронежилет, плохо

подогнанный, шлепал на бегу. Пробегая мимо одного из лежащих на дороге, он на мгновение опустил ствол автомата и выстрелил — лежащий, видимо, показался ему живым. Тело подбросило над асфальтом. Из третьей машины прогремела автоматная очередь, бестолково длинная. Сергей упал и, быстро перекатываясь с живота на спину, свалился в кювет. Олейник в два прыжка оказался на крыше третьей машины, его «кольт» загрохотал: он стрелял сквозь крышу, звук был такой, будто работает кузнечный пресс. В это время багажник третьей машины распахнулся, и, словно чертик на пружине, вырос из него человек с автоматом в руках. Он не был виден Сергею, а между ним и Юрой лежал на крыше машины Олейник. Но автомат уже вылетел из рук человека, и уже он сам опрокинулся, упал на дорогу, и Олейник уже понял, что третий удар не нужен — человек был безопасен, хотя, вероятно, еще жив: подошвы любимых ботинок были мягкими, убить даже сильным ударом здорового мужика невозможно...

Вертолет сел метрах в восьмидесяти. Барышев — в безукоризненно уставной полевой форме, в идеально точно сидящей пятнистой каскетке и ровно настолько, насколько положено, открытой тельняшке, подошел спокойно, не глядя на обломки машин и трупы.

— С заданием справились, — сказал он. — Капитан Олейник, сержант Никифоров, рядовой Цирлин, я объявляю вам благодарность от лица командования. В расположении части вас ожидают ваши близкие, вам будет предоставлено увольнение на трое суток каждому. В гостинице для офицерского состава вам будут выделены комнаты...

Объезжая вертолет, уже приближались грузовики и тягачи — через час следов на дороге не останется.

Юра шагнул к Барышеву и, совершенно позабыв всякую науку, по-харьковски просто дал ему по морде. На пятнистую куртку быстро-быстро закапала кровь.

— И попробуй ему ответить, сука, или заложить, — сказал Сергей.

— Вернетесь в часть вместе с труповозкой, подполковник, — сказал Олейник, — а мы пошли к вертолету. И Сергей не шутит, да и я тоже вам советую про эту оплеуху помнить молча.

Из-за руля второй машины вытащили полуобгоревшее тело. Облупленная кожаная куртка висела клочьями, сапоги с голенищами гармошкой скребли по земле. Чуть в стороне лежал человек с вогнутым, как у идола с острова Пасхи, лицом. Прилизанные волосы отклеились от широкой лысины, прядь их свесилась и шевелилась под ветром.

Проходя мимо тягача, Сергей что было силы шваркнул «узи» о гусеницу и отшвырнул обломки автомата.

### 3

В гостиницу после приема в мэрии вернулись в третьем часу ночи.

В маленьком холле пахло теплом, хорошим табаком, кофе, чудесной парфюмерией.

Не было сил больше переставлять ноги, она не пошла вместе со всеми к лифту, а присела в кресло — не то старинное, не то стилизованное под старину, здесь нельзя было понять: кожа, глубоко утопленные медные шляпки обивочных гвоздей, потертое красное дерево подлокотников. Рядом с креслом стояла девственно чистая медная пепельница на высокой ножке.

Она порылась в карманах плаща и бросила в пепельницу скопившиеся за день в карманах картонки билетиков, испещренные буквочками, цифрами, значками... Интересно, что они значат и кто их читает?.. Сняла и положила рядом с креслом на пол, на толстый лимонно-желтый ковер, свой осточертевший берет. Никто здесь таких не носит, но маленькие шляпки ей не идут... Встряхнула слежавшимися за день волосами... Еще мыть голову, сушить, а спать хочется невыносимо...

Мимо прошла пара американцев, сидевшая на завтраке за соседним столом, улыбнулись, мужик даже подмигнул — мол, пошли с нами — обнял подругу за плечи и легонько втокнул ее в бар. Качающиеся двери бара, приоткрывшись, выпустили немного тихой грустной музыки. Она знала эту песню, дома по телеку непрерывно крутили клип, прелестная голубоглазая француженка и молодой красавец ехали на мотоцикле по мокрой вечерней набережной... А американцам было лет по шестьдесят пять, она носила огромные разношенные кроссовки и широкие штаны выше щиколотки, он был тяжелозад и глух, в каждом ухе его лежало по белой таблеточке слухового аппарата. И всегда в обнимку...

В номере чуть слышно гудел обогреватель, на тумбочке рядом с постелью лежала очередная конфетка на ночь — на этот раз розовая с золотом. Сразу, едва сунув плащ в шкаф, кое-как скинув одежду на кресло, она пошла в ванную. Остатки сил надо было сберечь, невозможно завтра появиться с невымытой головой. Привыкнуть и не отмечать этого про себя было невозможно, хотя уж сколько навидалась, но все равно — чудо: четыре свежих, идеально сложенных полотенец, плетеная корзинка с шампунем, мылом, колпаком для волос, микроскопическим тюбиком зубной пасты... Немного помучившись с кранами, она отрегулировала воду, открыла баночку шампуня — накопившиеся за предыдущие дни уже лежали в сумке, девкам пригодится подарить, а то и самой понадобится — еще неизвестно, как будет в Москве, когда вернешься.

Вымылась быстро, расчесала волосы и включила укрепленный на стене, рядом с зеркалом, фен. Сквозь его гул услышала какой-то звук в номере, с испугом вспомнила, что, кажется, не заперлась, осторожно, чуть приоткрыв дверь ванной, выглянула. В комнате никого не было, ее одежда валялась на кресле, желтый неяркий свет падал от торшера. Из комнаты во влажное тепло ванной потянуло сквознячком. Она прикрыла дверь, еще немного покрутила головой перед феном, замотала влажные волосы полотенцем, накинула тонкий ярко-синий халатик, купленный когда-то, еще в первой поездке, с которым с тех пор не расставалась, — места занимает мало, не мнется, захватила щетку, чтобы, включив ночное, бессонное, непонятное телевидение, дорасчесываться уже в постели, и вышла.

На уголке кровати, не видном из ванной, сидел Дегтярев. На полу рядом с ним стояли почти ополовиненная бутылка коньяка с кривой советской наклейкой и стакан, который он взял с ее столика.

...Она до сих пор иногда удивлялась: что могло долго связывать ее с этим персонажем, почти фельетонным, почти комическим? А потом вспоминала — какой

уж там фельетон... Беда, бедствие, болезнь. Ужас. Слава Богу, избавилась.

Дегтярев работал еще на Шаболовке, а потом в Останкине всю жизнь, и никто не мог бы точно сказать — кем. Некоторые считали его диктором, и правильно, был он и диктором, голос его, мужественный и как бы слегка надломленный суровым жизненным опытом, звучал то в праздничных репортажах о парадах и демонстрациях, то в грустных сообщениях о мировых бедствиях. Но был он как бы и комментатором, с удивительной искренностью и теплотой говорил о наших друзьях из разных стран мира, в которых этих друзей не понимали и даже травили за искреннюю симпатию к великой стране и народупобедителю. Друзья приезжали, подолгу жили в гостинице в районе Арбата, давали интервью, гневно осуждая империализм, открывая глаза советским людям на их несравненное счастье и на несчастья их товарищей по классу в странах показного изобилия. Вот интервью у них Дегтярев-то и брал, и его скромный, но приличный костюм хорошо, драматургически точно смотрелся рядом с клетчатым, но дешевеньким пиджачком брата по идеологии. Всем своим видом — от красивой, но не очень аккуратной, художественно-небрежной шевелюры до жестко складывающихся, с чуть опущенными уголками губ — Николай Павлович Дегтярев выражал сдержанное сочувствие униженным и оскорбленным всего мира. И постепенно стал считаться выдающимся специалистом — причем не только на телевидении, приглашали его и в более серьезные места — по сочувствию бедным и по борьбе со злом, ломающим и угнетающим бедных людей всего мира.

Так он дожил до перемен. Иногда на некоторое время с экрана исчезал — или руководство проявляло недовольство пережимом в сочувствии, или тот, кому посочувствовал в последний раз, уехав, вдруг начинал нести страну с гостеприимным арбатским приютом... Спустя некоторое время Николай Павлович появлялся снова, и снова время от времени его прямо из студии, в перерыве передачи, звали в кабинет к телевизионному начальству, там его уже ждала трубка желтого телефона с гербом, и кто-нибудь из тех его дружков, которых он называл запросто Володька или Петька, одобрительно ему выговаривал: «Ну, ты сегодня, Николай Павлович, резковато... Могут истолковать... Но, ничего не скажу — честно... Молодец!..»

Перемены сразу же напомнили всем — и Николай Павлович сам старательно организовывал это напоминание, что было вполне объяснимо, человек наконец получил возможность говорить то, что думает, — напомнили именно о тех периодах его жизни, когда от экрана его отлучали. Как-то незаметно получилось так, что он снова стал выдающимся специалистом по сочувствию бедным людям, но поскольку теперь выяснилось, что самые бедные в мире — его соотечественники, то Дегтярев сочувствовал им и обличал то зло под маской добра, которое десятилетиями ломало и угнетало его народ. Снова время от времени его звали к «вертушке», и Володька в трубке вздыхал: «Да, Николай Павлович, сегодня ты круто взял... Пока могут не понять... Но, должен признать, правда... Молодец!..»

Но вот что интересно: все верили Дегтяреву и теперь и прощали ему и прошлое, и настоящее, хотя многим почти таким же не прощали. Может, в этом «почти» и была причина — что-то в Дегтяреве чувствовалось настоящее, страсть какая-то, и потому отличали его люди от комических прогрессистов, кочующих с тусовки на тусовку.

Дегтярева тоже куда-то выбрали, включили и приглашать тоже стали на тусовки, и всюду он говорил о бедных людях, и грива его, ставшая более небрежной, выглядела

все более убедительно. Вместо костюма он теперь носил свитера и кожаные куртки, которые привозил из каждой поездки.

Но страсть все жестче складывала его губы. И она — пожалуй, единственная из всех его бесчисленных личных и заочных знакомых — знала, что страсть действительно существует.

Познакомились же они еще в первый день ее работы. А недели три спустя ее попросили съездить к нему домой — Николай Павлович был болен, а тут срочно понадобился какой-то документ, который он взял домой. Или, наоборот, срочно понадобилось ему отвезти какой-то документ на прочтение и отзыв — уже забылось это за годы. Она была самая молодая и не очень занята работой, послали ее. Он жил в просторной квартире, в старом доме, где-то в районе Сивцева Вражка. Паркет сиял, картины со стен сияли, гигантский экран телевизора светился нездешними красками... В таком жилье она еще не бывала в те времена. В прихожей, в гостиной и в видимом сквозь приоткрытую дверь кабинете стояли плотно набитые книжные шкафы. За их стеклами, поперек корешков, были засунуты фотографии Николая Павловича — и с Володькой, и с Петькой, и с Раулем, и с Эрихом, и с Густавом... И просто — с актерами, писателями, музыкантами. На самом видном месте была фотография Дегтярева с каким-то лысым, чрезвычайно стесненно державшимся перед объективом — втянув голову в плечи. Поймав ее взгляд, Николай Павлович спокойно и достойно-гордо назвал фамилию, которая в те годы даже дома произносилась не слишком громко. В начальственной квартире фамилия прозвучала особенно вызывающе...

Когда через двадцать минут она собралась уходить, он пошел за нею в прихожую — и вдруг взял за руку, слегка потянул, они оказались в спальне... Она даже не успела перейти с ним на ты и, уходя, спросила нелепо: «А где... ваша супруга?» Оказалось, что жена просто вышла в магазин. Она похолодела, он усмехнулся — в определенной смелости, и это подтверждалось потом еще много раз, ему отказать было нельзя.

Их роман длился полтора года, тут как раз все изменилось, но он и теперь оказался неизмеримо выше ее в новой табели о рангах, и только когда она стала вести самые популярные — ночные — передачи, они начали уравниваться. Однажды они вместе пили кофе в гигантском ангаре нижнего буфета. «Сегодня приезжай, — сказал Николай Павлович негромко, когда от столика отошел надоедливый редактор из литдрамы. — Я один...» Она, допив кофе, молча смотрела, как он закуривает, — Дегтярев позволял себе дымить трубкой где угодно, и замечаний ему никто не делал. «Когда тебя ждать?» — Он затаился, удивленно подняв брови, поскольку она продолжала молчать. Наконец она встала и взяла свою чашку, чтобы отнести ее к мойке, — не могла отвыкнуть от этого столовского правила. «У меня сегодня передача, — сказала она, — кончится поздно, и я не могу...» — «Ну, так придумай что-нибудь, — раздраженно буркнул он, продолжая сидеть и раскуривать трубку, придавив ее сверху спичечным коробком. — Скажи Андрею, что ночная запись какая-нибудь...» — «Нет, Коля, не придумаю. — Она продолжала стоять перед ним с чашкой в руке и говорила, почти не понижая голоса. За соседним столиком замолчали, но ей было все равно, о романе и так ходили сплетни, пусть теперь знают, что все кончилось. — Не буду придумывать, потому что мне надоело бегать по первому требованию. Что, ее ты опять в магазин отправишь? Или к внукам? И потом — после передачи я слишком устаю...»

Она пошла к мойке. Он догнал ее, сказал, скривив больше обычного рот в презрительной гримасе: «Конечно, тебе передача важнее... Теперь можно карьеру делать на болтовне, Дегтярев не нужен». Она не ответила, но в тот день Николай Павлович Дегтярев попал в ее список — в список унижавших, мучивших, терзавших самое болевшее в ней. Он действительно помогал ей в первые месяцы, но по честному счету помощь эта была не настоящая. Он учил ее только тому, что требовалось тогда, а главное, что потребовалось ей теперь, она уже осваивала без него. Но помощь все же была, потому что поначалу нужно всплыть на уровень. И Дегтярев, напомнивший о помощи, попал не просто в список мести — он в этом списке был одним из самых ненавистных. Но время расчета все не наступало... В коридорах они кланялись, а попав — что бывало все чаще — в одну поездку, в самолете и в автобусах садились далеко друг от друга. Если необходимость возникала, обращались друг к другу, конечно, по имени-отчеству. Время еще не пришло, но она знала, что придет...

— Извини, — сказал Дегтярев, — не спится никак. Давай выпьем вместе... вспомним... Или совсем все ушло?

Она не торопясь запахнула халат, завязала пояс, сунула щетку под подушку, сбросила полотенце, недосушенные волосы рассыпались, сразу завившись в слишком мелкие кудри.

— Что ж, давай выпьем, Коля, — сказала она и увидела, что спокойствие ответа подействовало, он съежился, сник, сразу стало видно то, что она уже давно замечала при случайных встречах: старый, старый человек с быстро редющими растрепанными волосами. Молодежная куртка висит на худых плечах... — Сейчас стакан принесу.

Она вернулась в ванную, споласкивая стакан, смотрела в зеркало. Выглядела, несмотря на усталость, после душа прекрасно, глаза сияли. Больше тридцати сейчас не дашь... Вышла в комнату, подвинула к кровати кресло, поставила стакан. Он налил ей немного — знал, что почти не переносит коньяка, — себе две трети стакана, выпил сразу, чуть двинув в ее сторону рукой: «Ну, твое здоровье, бывшая любимая...» Она тоже выпила сразу все, что он налил, и, перегнувшись в кресле, поставила стакан на столик. Халат распахнулся на груди, она не поправила его. Все шло по ее плану, только слишком быстро, ей на минуту стало мерзко... Дегтярев некрасиво, не вставая с кровати, потянулся, обнял, она увидела, что выпитое им до прихода не прошло бесследно, движения были нетверды, он плыл, глаза разъезжались.

— Зря ты пьешь так много, — сказала она. — Совсем печень загубишь... Тебе ведь шестьдесят пять в этом году?

Это он выдержал — сделал вид, что не слышит, тащил с нее халат... Она позволила ему уложить ее на кровать. Лежала, не прикрывшись, закинув руки за голову, чуть согнув в колене левую ногу. Свет от торшера, хоть и неяркий, захватывал ее всю. Она покосилась вниз — на светлых волосах еще поблескивали капли воды, это было так красиво, что она поняла — все силы потребуются, чтобы победить собственное, жестокое, мучительное возбуждение. Дегтярев лихорадочно стаскивал одежду, рвал через голову свитер. Она успела заметить, что майка на нем несвежая, и почувствовала чужой запах, который всегда вызывал острое отвращение, если кто-то раздевался при ней — например, в бане, куда ходила иногда с другими телевизионными дамами... Это и есть конец, подумала она, когда запах ощущается как чужой. Раньше не замечала... Впрочем, он раньше был моложе и, вероятно, опрятней...

Когда он рухнул, вцепился по-прежнему сильными руками, приблизил лицо, напрягся, зашептал — ну, вот, вот, а то... придумала... разве мы можем расстаться?.. ты же не можешь без меня... ты же пропадешь... и я... я брошу ее, выходи за меня, сейчас только и жить... ах, ты, стерва, как же ты могла думать, что ты меня бросишь... маленькая блядь... ну, вот, вот, вот... — Он всегда называл ее всеми непотребными словами в такие минуты, в этом был их кайф, они оба знали, что в этих словах исходит самое истинное в их страсти, и когда он уже замолчал, и стал закрывать глаза, и дышать все тяжелее...

Она усмехнулась.

Он открыл глаза и увидел ее усмешку.

— Ничего не получится, — сказала она. — Ты хорош только, когда у тебя есть власть. А власти больше нет. И любовь моя высохла, чувствуешь? Понимаешь, Коленка? У тебя больше нет надо мною власти, и никогда, никогда, никогда ничего хорошего у нас не получится... Ведь вся наша страсть — твоя власть... Оденься, простудишься. Они совсем не топят в комнатах, чтобы лучше спалось.

Она лежала на спине, снова закинув руки за голову и слегка согнув в колене левую ногу, и торшер освещал ее всю, но капли воды уже не блестели на светлых волосах. Пожилой мужчина, стоя посередине ее номера, застегивался, руки его заметно вздрагивали, он смотрел мимо нее и дышал с чуть слышным всхлипом в конце каждого вдоха.

Потом он ушел, прихватив с собой недопитую бутылку.

Снова лилась вода, шел пар, запотевало зеркало. Она лежала в ванне, рука двигалась отчаянно и неутомимо, но все было бесплодно, только все больнее и больнее, она выгибалась, рука уходила в голубоватую воду и там двигалась, ненавистный, неловкий, нежеланный палец скользил среди всплывающих в воде волос, она выгибалась все выше, выше, стонала все громче и все отчаяннее понимала, что ничего не будет.

Ну, прости же меня, взмолилась она, да, я отвратительна, зла, я хочу мести, но неужто непозволительна месть за убийство, а ведь они все, они все убивали меня, потому что всякое унижение для меня — это смерть, и я всякий раз умирала, а они даже не знали об этом, но ведь они же хотели меня унижить, они же делали все сознательно, так неужели же простить? Я готова простить Андрею, он не хотел моего унижения, просто он так устроен, он не чувствует тонкостей, не видит деталей, не ощущает полутонов, он не хотел меня унижить, он причинял мне зло без намерения. Но все другие — они были злы, и любовь их была злом, и неужто нет прощения моему греху злопамятства, неужто я такая же, как они, коли на зло отвечу злом?

Прости же, прости меня, молила она.

И из пара, из запотевшего зеркала к ней плыли мерзлые улицы, чужие подъезды, разбитые такси, грязные постели, она слышала чуть хриловатый голос с безукоризненно московским выговором и тембром, она ощущала единственный не чужой запах, прикасалась к не чужой коже, ощущала на лице не чужое дыхание... Успокойся, сказал он, ты же не святая, ты живой человек, и это — твой грех, но он не самый страшный, и не самым страшным злом отвечаешь ты на зло, и никто не знает меры ответа, успокойся, отмолим любовью, успокойся, бедная моя девочка. Он

положил свои очки на пол, рядом, и в какой-то момент, вывернувшись, она увидела это маленькое стеклянно-стальное насекомое, металлического кузнечика с вывернутыми горбатыми лапками, трогательного и беззащитного.

Она застонала, закричала, зажимая себе рот, чтобы крик не был слышен в соседнем номере сквозь шум все еще льющейся воды.

Утром ее долго будили звонками из рецепции. Она ответила, что плохо себя чувствует и хочет отлежаться, — придет сама прямо на встречу и обед с представителями второго или какого там национального канала.

## СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ. ДЕКАБРЬ

Две «Волги» и «уазик», выкрашенный белым по обводам, как для парада, рванули от барака на краю летного поля и остановились у трапа. Дверь отъехала внутрь и в сторону, они вышли, ветер с мелкой снежной крошкой рванул полы серых английских пальто, вцепился в темные норковые шапки, особенно злобно принялся за генеральскую шинель и не по сезону фуражку.

— Все щеголяешь, Ваня, — усмехнулся, прикрываясь от ветра и спеша вниз по трапу, один из прибывших. Красивая седина выбивалась из-под его шапки, пальто сидело на нем особенно ловко, и по трапу бежал он вниз быстрее всех. — Смотри, простудишь головку, какой из тебя стратег будет?

— А пошел ты с шуточками на хер!.. — прошипел генерал, воюя с ветром. — Шутник...

Захлопали дверцы машины, первым рванул с места «уазик» с генералом, следом пристроились «Волги», и через минуту небольшой кортеж уже несся по сизой бетонке, будто дрожащей и виляющей под редкими струями поземки. Белесая плоская степь уносилась в обратную сторону, в степи вдруг возникали длинные бетонные бараки, горбы подземных хранилищ, засыпанных землей, обнесенных многорядной проволокой, панельные, этажа в четыре, сооружения без окон... Навстречу, тоже на порядочной скорости, пронесся бэтээр, за ним, с небольшим интервалом — еще один. И снова опустела дорога, снова мелькали в степи, уже едва видные в быстро темнеющем синеватом воздухе, бараки, хранилища и гаражи. И тоска, какая бывает только в промерзшей зимней степи, все ниже спускалась вместе с мгновенными сумерками и ночью, засветившейся редкими кучками огней.

Через полчаса они уже сидели в яркой, жарко натопленной столовой, на скатерти стояли тарелки, фужеры, бутылки. И обязательный изыск охотничьих домиков и саун — вялая зелень букетиком в центре каждого блюда с колбасой, рыбой, сыром — не была забыта здешними хозяевами.

Пиджаки гости уже повесили на спинки стульев и остались, конечно, по холодному времени и полевым условиям, в пуловерах и кофтах, поддетых в дорогу поверх обычных рубашек с галстуками. Генерал разлил, чокнулись «за приезд», выпили. Молча начали закусывать — полет был долгий, проголодались все как следует. Выпили по второй, закурили.



Стены столовой были обшиты панелями лакированного светлого дерева. В углу стоял большой холодильник, в другом — большой телевизор на маленьком столике с хилыми раскоряченными ножками. Окна были плотно задернуты шторами из ярко-желтой ткани.

Сквозь эти шторы желтый свет ложился вытянутыми прямоугольниками на снег, все ползущий и ползущий по двору стоящего на отшибе, на краю военного городка, домика. Высоким забором огорожен пустой двор, у ворот ходит часовой, длинный, до земли тулуп с поднятым воротником придает ему вид шахматной фигуры — ладьи или ферзя. Ползет по двору снег, переползая освещенные прямоугольники, словно таящийся лазутчик; ползет снег по степи, начинающейся прямо за забором; ползет по черному небу над домиком светлый дым из его трубы; ползут облака над поселением из двухэтажных домов, длинных, многооконных, уже засыпающих и гасящих свет, — рано ложатся в декабре офицерские семьи, и над трехэтажными казармами, разом померкшими всеми окнами после отбоя, и над памятником на центральной площади между домом офицеров и штабом... Ветер к ночи почти утих, и не поймешь, почему все ползет и ползет снег — словно облака по земле.

В столовой уже отодвинули тарелки, уже накурено. Лысый, с белесыми бровями и ресницами человек отодвинулся от стола, закачался на задних ножках стула, вздохнул.

— Ну, начнем работать, товарищи? — он глянул на генерала. Тот немедленно встал, быстро привел себя в порядок — мундир его висел на спинке стула, резинка форменного галстука была расстегнута, и он свисал с рубашки, удерживаемый зажимом, — и вышел. Через минуту вернулся с подполковником в полевой форме. Сидевшие за столом уже подтянулись, будто и не ужин был с коньяком, а обычное долгое совещание. Немолодая тетка в белом, как у медсестры, халате быстро вынесла тарелки, осторожноенько сдернула с полированного стола, свернула вместе с крошками и утащила скатерть. Подполковник стоял молча. Наконец тетка ушла с последней вилкой.

— Садись, подполковник, — сказал лысый. Седой, с одутловатым лицом не то мальчика, не то пожилой бабы, подвинул стул.

— Благодарю, Игорь Леонидович, — сказал подполковник, садясь чуть в стороне от стола, как и положено вызванному для доклада. Седой поднял брови.

— А вы откуда же меня знаете?

— Как комсорг части во встречах участвовал на Новой площади...

— Бывает, что память и подводит, подполковник, — перебил лысый. — Бывает, обозначаешься... Понял?

— Давай, Барышев, докладывай. — Генерал хмуро покосился на лысого. — Товарищи устали, не тяни, расскажи, какие результаты — и все...

— Слушаюсь, товарищ генерал. Разрешите сразу по итогам?

— Давай по итогам...

— По итогам подготовки специальной группы в учебном центре. Докладываю, Иван Федорович: мною была организована проверочная операция, полностью имитирующая выполнение основной задачи, поставленной как цель подготовки. В операции были задействованы, кроме специальной группы, выполняющей эту задачу,

военнослужащие из личного состава учебного центра, в частности, преподаватели спецотделения, работавшие с группой, на трех автомашинах «Волга». Все участвовавшие в операции были вооружены соответствующим задаче стрелковым и иным оружием. Специальной группе, а также группе, имитирующей противника на трех автомашинах...

— Какого, на хер, противника, Барышев?! — генерал не выдержал. — Ты что, совсем опупел?

— Была поставлена задача, Иван Федорович. — Барышев встал. Стоял, глядя на генерала сверху вниз, твердо, но не вызывающе. — Я выполнял учебную задачу наилучшим образом, чтобы иметь настоящее представление о возможностях подготовленной группы. С этой целью участвовавшим в операции были выданы боеприпасы и разъяснено, что операция боевая. Кроме того, членам специальной группы я обещал по окончании операции организовать встречу с семьями, о чем просил вашего разрешения и что вами, Иван Федорович, было разрешено. Семьи прибыли спецрейсом из Москвы уже в то время, когда операция началась...

— погоди, подполковник, насчет семей. — Лысый перестал качаться на стуле, смотрел на Барышева с интересом, в желтых глазах отражались огни не то низко висевшей над столом люстры, не то какие-то дальние, невидимые. — Значит, если я тебя правильно понял, они там боевыми хуячили? Всерьез?

— Так точно, товарищ секретарь. — Повернулся к лысому Барышев, и тут уж генерал вздрогнул и даже крикнул, будто на ногу ему наступили. — Так точно, огонь велся на поражение...

— Хорошая у тебя память, подполковник, очень хорошая... — Огни плясали в желтых глазах. — А я в комсомоле никогда не работал, откуда ж ты меня знаешь?

— У меня действительно хорошая память. — Барышев глянул лысому прямо в глаза и не отвел взгляда от желтых огней, смотрел спокойно, только чуть гуще стал смуглый румянец на щеках. — Я профессиональный разведчик, специалист по военно-диверсионной работе, я обязан иметь хорошую память...

— погодите, — перебил его седой комсомолец, — а если бы ваша спецгруппа с заданием не справилась?

— Проверочная операция дала бы тем более важный результат. Я бы доложил о необходимости создания и подготовки новой группы, зато была бы гарантия, что не способные выполнить задачу люди не будут использованы и не подвергнут риску всех, кто взял на себя ответственность за операцию... В этом случае семьи должны были быть доставлены на аэродром к обратному спецрейсу соответствующим образом подготовленным автомобилем...

— Сам готовил? — усмехнулся лысый.

— Так точно. В автобусе были установлены дополнительные емкости с бензином, расчетным образом ослаблены гайки крепления передних колес...

— Ну, ты даешь, подполковник. — Лысый покрутил головой. — Но спецгруппа, значит, оказалась на высоте?

— Спецгруппа с задачей справилась, несмотря на то, что противниками были высококвалифицированные профессионалы, которые преподавали членам группы

боевые дисциплины. Видимо, подействовало понимание членами группы зависимости свидания с близкими от результатов их действий. Кроме того, я предполагаю, что члены группы догадывались о решении судеб их семей в случае неудачи проверочной операции. По крайней мере, я не дал никакого ответа, когда мне был задан соответствующий вопрос старшим этой группы. Он же во время операции действовал эффективнее всех...

— А, каратист, — седой засмеялся. — В Лондоне он тоже наших метелил будь здоров... Ну, Барышев, и сколько ж ты народу замочил на этом экзамене?

— Одиннадцать убитыми, Игорь Леонидович.

— А раненые были? — снова огни зажглись в желтых глазах, снова закачался лысый на ножках стула.

— Раненых не было. — Барышев опять глянул прямо в кошачьи глаза, и огни погасли. — Я лично был на месте операции через три минуты после ее окончания и проверял...

— Одиннадцать. — Генерал встал, отошел к окну, чуть отодвинул занавеску, поглядел на снег, уже не ползущий редкими струями, а лежащий под ветер волнами низких сугробов. — Одиннадцать... Ты, Барышев, много на себя взял...

— Товарищ генерал, во время последних учебных десантирований в дивизии погибло четырнадцать, вы знаете. Учитывая важность задачи, я считаю потери минимальными. Тем более, что преподавательский состав спецотделения учебного центра по действующим документам положено обновлять регулярно...

— Молодец, подполковник. — Лысый перестал качаться, стул встал на все четыре ножки. — Молодец... Ты что кончал? Кремлевский курсант? Или Рязанское?

— Москвич, — коротко ответил Барышев.

— Понятно, — лысый кивнул. — Значит, после операции готовься к академической деятельности... Чтоб с делом покончить, отвечай прямо: за команду ручаешься?

— Ручаюсь.

— Ну и спасибо... Иди, подполковник, отдыхай...

Они стояли на крыльце, глядя, как Барышев садится в «уазик», резко разворачивается к воротам и вырывается на бетонку, едва дождавшись, чтобы неловкий солдат в тулупе дал дорогу.

— Ну и что с ним дальше делать? — Лысый сказал негромко, почти без вопросительной интонации, будто сам себе. — Больно гордый... Профессионал... А чтобы промолчать — не удержался, всех знает... Пижон... Как считаешь, Игорь Леонидович?

— Думаю, ты прав. — Седой ступил с крыльца, пошел к машинам как был, в одном свитере, только шапку надвинул глубже. Остановился, сказал с невидимой усмешкой: — Профессионал... А я, ты знаешь, любитель...

«Волга» вылетела на бетонку. Лысый поежился и ушел в дом.

На повороте, на темной улице среди спящих домов, «Волга» встала рядом с вездеходом. Посидели минуту, не выходя. Потом дверца «уазика» открылась, офицер

ступил на снег, встал у машины. Словно в театре, в этот миг показалась из-за снеговых туч и наполнила ночь зеленым светом луна. Темным бликом мигнул в правой руке Барышева пистолет, он шагнул к «Волге» — тут же дверца ее распахнулась и из глубины машины ударила — негромко и коротко, словно одно слово, отбитое пишущей машинкой, — серия выстрелов. Седой бросил пистолет с нелепо удлинненным глушителем стволом на сиденье, выскочил, втащил тело в «уазик», не садясь, крутанул баранку вездехода, уперся, подтолкнул — машина медленно поехала к стене дома, въехала на тротуар, косо стала... Седой вернулся в «Волгу», прицелился... После третьего попадания бак рвануло, огонь поднялся к окнам второго этажа... «Волга» прыгнула с места и помчалась к центру городка, к площади с памятником — там можно было развернуться и не торопясь ехать к гостевому домику другой дорогой.

Он знал этот унылый поселок, как свою ладонь, здесь семнадцать лет назад служил в комендантской роте.

Солдат в тулупе открыл ворота, заглянул в машину, козырнул. Потом он долго запирал въезд. Наверное, утихомирились, думал он, больше выезжать не будут, суки. Побродил по двору — нелепый ферзь среди белых волн низких сугробов и черных проплешин еще не занесенной земли. Подошел к светящемуся апельсиновым светом окну. Тени — длинные, уродливые — двигались, поднимали стаканы, выпускали к потолку сигаретный дым... Если сейчас двинуть стволом по окну и сразу дать длинную, веером, можно за один раз достать всех, подумал солдат. Из этого, в лампасах, воздух сразу выйдет, как из проколотого гондона... И всех их бросит к стене, и они будут сползать по ней, оставляя красные дорожки на светлом дереве, и нужно будет дать еще одну, и еще — чтобы каждого достать в отдельности... Там наверняка останется коньяк, и потом можно будет принять стакан, согреться... Он уже замерз, а до смены час, и падла разводящий наверняка опять опоздает минут на десять.

#### 4

Прием устраила французская сторона в шикарном «Фукьесе» — прелестная русская транскрипция — в новой Опере. Долго пили изысканное белое, говорили, конечно, об удивительных переменах в России, лживое ледяное оживление блестело в глазах. Самым честным оказался угрюмый парень, сидевший между женою Редько и Ольгой, журналист из какого-то эпатажного еженедельника — стриженный в скобку, в мятом черном пиджаке и наглухо застегнутой жеваной рубашке без галстука. Он садил одну за другой «Голуаз» без фильтра и на невнятном английско-русском расспрашивал о службе в армии. Похоже, сказал он, что в вашем сценарии есть немного правды. Вы служили, наверное, давно? Но память хорошая... Законы триллера заставили вас сгустить краски, или?..

Начал было отвечать подробно, но перебил себя — слушайте, будет очень неприлично, если я скажу, что выпил бы виски? Или хотя бы розового — я не могу пить столько белого вина...

Все уже вставали из-за стола, стояли группками, курили, говорили довольно

громко. Леночка на своем диком английском все просвещала бессловесного Бернара, при этом время от времени она громко хохотала собственным шуткам, желе, упакованное в обтягивающие джинсы и трикотажную фуфайку с блестками, тряслось. Редько беседовал с американским продюсером, появившимся по случаю окончания съемок. Продюсер был на голову выше длинного Редько, черный костюм сидел, как на президенте, вишневый галстук был чуть распушен, русый чуб слегка спадал на лоб, как у двадцатилетнего. Вблизи можно было разглядеть, что ему не меньше пятидесяти... Редько убедительно гудел, из-под расстегнутого ворота рубашки выбивался чудесный фуляр — сцена беседы гения с финансистом была поставлена прекрасно. Жена Редько и Ольга стояли рядом, создавая удачный второй план, — две светские дамы, одна в темно-зеленом, другая в темно-лиловом, хорошее по цвету пятно...

Плевать, сказал парень, я сам выпил бы пива, пошли в бар, здесь где-то должен быть.

Полые ледышки колокольчиками запели в стакане, виски после холодного бесчувствия белого был словно пробуждение в тепле. Скажи, спросил парень, отставляя пузатый пивной фужер, вы действительно уже не собираетесь прийти в Европу на танках? А-а, обрадовался он, хоть ты честно спросил о том единственном, что вас интересует!.. Вы нас просто боялись всю жизнь и теперь не можете поверить в счастье — опасный сосед-безумец, кажется, приходит в сознание... Плевать вам на нашу свободу, вы просто боитесь за свое пиво. Правильно, спокойно согласился парень, я боюсь за свое пиво. И, кроме того, я был в Чехословакии тогда, в августе, я знаю, как выглядят ваши танки на фоне готики. Сколько ж тебе лет, удивился он? Думаю, что мы ровесники, сказал парень и ошибся только на два года — оказался старше. Да, сказал он, если вы так выглядите, вам есть за что бояться...

Виски был уже третий, и парень пил пиво, как похмеляющийся шоферюга, — втягивал мгновенно и тут же щелкал по пустой емкости, чтобы разливала ее наполнил.

Сейчас здесь большая мода на вас, сказал парень, на вашу политику, на вашу литературу, ваше кино. Но ты не должен обманываться: если вы действительно станете такими, как все, мода пройдет, и вам будет туго, нет опыта конкуренции, и потом, вы все равно останетесь не совсем взрослыми. Я работал в Москве два года, вы все, не только интеллектуалы, живете словно во сне. Я знаю, что такое русские фантазии...

Мы не интеллектуалы, сказал он, мы интеллигенция.

Да, я знаю разницу, сказал парень, я думаю, в ней все дело... Это ваше несчастье.

Это наша жизнь, сказал он.

На своем крохотном «остине», похожем на масштабно уменьшенную модельку автомобиля, парень подвез их до гостиницы, приобнял его, похлопав по плечу, поцеловался с Ольгой — и исчез навсегда, навсегда застряв в памяти. Визитная карточка лежала в бумажнике, но он знал, что никакого повода для встречи больше не будет.

— Устала ужасно, — сказала Ольга, — а в номер не хочется. Ты не против пройтись?

Они вышли на rue Saint Andres des Art. По мостовой шла толпа, обычный маскарад Левого Берега. В ярко освещенном книжно-пластиночном магазине, открытом всю ночь, стоял одинокий человек в старой английской шинели и косынке, повязанной на голове по-пиратски, и рылся в постерах, сложенных в большие стоячие папки. Из греческих закусочных падал на загаженную мостовую свет, в окнах крутились гигантские конусы прессованного жарящегося мяса, и чернявые ребята стругали это мясо на бутерброды ножами длиной с буденовскую пашку. У витрин магазина «Next Stop», торгующего американским старьем, он, как всегда, задержался, невозможно было пройти мимо верблюжьих дафл-котов и пиджаков из толстого твида с кожаными заплатками на локтях. Эвелик, эвелик, гардероб мой невелик, — вспомнил он идиотские стишки фарцовочных шестидесятых, вспомнил эти петельки, свешивающиеся с воротников, кожаные заплатки, клетчатые подкладки, лейблы, пуговицы футбольными мячиками, за каждую тогда давали пятерку...

На углу, у метро и чаши фонтана, тусовались молодые американские бродяги, они норовили сесть на мостовую маленькой площади, женщина-полицейский, обвешанная по поясу наручниками, кобурой с вылезавшей револьверной рукояткой и еще какой-то чертовщиной, хмуро наблюдала за оборванцами и, как только они приземлялись, показывала рукой: встать, вверх, встать, засранцы! Кобура лежала на ее крутой заднице, как седло на крупе. Была она чернокожая. Пилотка высоко сидела на кудрях, на огромном «афро».

К гостинице вернулись по бульвару, почти не разговаривая, как обычно в последнее время, — все впечатления были уже высказаны, а конфликты, чем ближе было возвращение, возникали все чаще. Но сегодня удалось промолчать — и вдруг возник покой, благожелательность, даже что-то вроде близости. Он почувствовал, что еще возможно жить, вместе переживать день за днем и входить в утро без ощущения отчаяния.

В номере, как Ольга и ожидала, было душно, топили в связи с похолоданием отчаянно. Ольга тут же стащила платье, бросила его поверх плаща на кресло и пошла в колготках и широком лифчике открывать окно. Он разделся, повесил одежду в шкаф, вытащил из-под подушки пижаму. Увидел свое отражение в зеркале шкафа — в трусах, с пижамой в руке, с растрепавшимися при раздевании волосами...

Ольга вышла из ванной голой. Он бросил пижаму на постель, увидел в зеркале, как она выходит из ванной — немного сгорбившись, словно от стеснения, а на самом деле от того, что в комнате уже стало прохладно, от окна дуло, и ей просто было холодно. Он шагнул к ней, возбуждение становилось, как обычно, тем сильнее, чем сильнее он испытывал отвращение к себе... Но, обхватив себя руками, так что груди сошлись, она пробежала к постели и мгновенно залезла под одеяло, накрутив его на себя.

— Как прекрасно, — сказала она, и он не поверил своим ушам, настолько это совпадало с его настроением. Прекрасно, все прекрасно, и все возможно, надо только забыть все остальное, и вот сейчас, здесь, в этой жаркой и продуваемой сквозняком случайной комнате, в этой стране, в этом непредставимом городе можно любить эту женщину, которую ведь любил, любил, была страсть, и, кажется, она тогда все время смеялась, она вообще очень смешлива, даже сейчас...

— Как прекрасно, — сказала она, — за окном Париж, хорошая гостиница... я

сейчас ужасно устала, давай спать, ладно?.. и надо завтра позвонить Ленке, пусть они нас встретят... ну, гаси, ложись, я уже засыпаю...

Она вспомнила о дочери, когда пришла пора возвращаться, подумал он. Ольга уже спала, щека ее, смятая подушкой, сморщилась, и рот немного приоткрылся.

Он подошел к окну. Начался мелкий дождь, камни во внутреннем дворе блестели. По карнизу на уровне третьего этажа шла кошка, обычная кошка дворового вида, хотя на ней наверняка был ошейник — бездомных кошек здесь не водится. Кошка остановилась и внимательно посмотрела на него, стоящего в светлом окне. Боже, подумал он, да почему же я должен жить именно так?!

## СРЕДНЕЕ ПОВОЛЖЬЕ. ДЕКАБРЬ

— В любом случае все будет по-другому после операции, — сказал лысый.

Самолет медленно вырубивал на полосу. В пустом салоне стоял затхлый холодный воздух, он был почти видим. Перегнувшись через проход, седой внимательно слушал. Остальные, не сняв шапок и поплотнее запахнув пальто, сразу начали дремать, лица их в утреннем свете отливали зеленым, морщины разгладились похмельным отеком — выпивали до трех, встав, поправились и распили еще пару бутылок...

— А если ничего не выйдет? — седой говорил негромко, стараясь, чтобы лысый расслышал, он совсем лег на подлокотник, перегородив проход. Двигатели завывали, самолет рванулся по полосе, и ответ лысого можно было только угадать.

— В любом случае, — повторил лысый, и его собеседник, не видя, почувствовал, как зажглись тигриные желтые глаза. — В любом случае все изменится. Он будет напуган, понял?

Вой утих, самолет оторвался от земли, и ее грязно-белый лист стал косо уходить вниз и тут же скрылся за такими же грязно-белыми клубами облаков. Лысый повернулся к слушавшему и, отчетливо двигая бледными губами, сказал:

— Я его хорошо знаю еще по крайкому, понял? Он трус. Трус, когда испугается по-настоящему, может сделать такое, что никакому герою не приснится... Он испугается, и тогда в стране наступит такой страх, какого еще не было, увидишь... Он до конца жизни будет бояться нас, а люди будут бояться его, и там, — он ткнул рукой в сторону круглого, полузакрытого шторкой окошка, за которым лилось грязное молоко, — там, внизу, будет снова нормальная жизнь... Мир, покой, люди забудут всю эту пакость, они будут рады ее забыть, и ты, мы все будем иметь право гордиться — мы их спасли... Понял?

Он устроился в кресле удобнее, запахнул пальто, надвинул шапку на лоб и прикрыл глаза. Помолчал минуту, будто сразу задремал, сказал, уже не обращаясь к седому:

— Странно, теперь вроде и натопили в салоне, а раздеваться не хочется... Намерзлись...

Снова помолчал. Седой, решив, что теперь-то он уж точно заснул, повозился со спинкой кресла, откинулся, тоже закрыл глаза — и услышал:

— Он трус, в этом все дело.

## 5

Она поехала в Останкино, едва переведя дух после возвращения. В субботу должна была идти передача, оставалось четыре дня, она боялась, что не успеет войти и ее могут заменить какой-нибудь дуручкой из молодежной редакции, с них станется.

Увидела стоящий, быстро забивающийся людьми лифт, пронеслась, часто стуча каблуками новых сапог, по холлу, втиснулась — и оказалась грудь в грудь с парнем из группы, репортером, недавно пришедшим из той же молодежной редакции и уже сделавшим в прошлую передачу классный сюжет об инвалидах и стариках, сплошные слезы...

— Привет, — сказал парень, — с приездом. Выглядишь, прикинута — атас... Я забыл, ты где была?

Конечно, это было хамство, что он обращался к ней на ты, но, во-первых, здесь все так обращались, а во-вторых, подчеркивать, что он почти вдвое младше, тоже не резон... Хуже было, что она не могла вспомнить его имя...

— Привет, — ответила она осторожно, — Игорек... за комплимент спасибо, какой уж там вид, устала жутко...

— Глеб, — поправил парень без обиды и улыбнулся. — Опять нелегкая судьба занесла куда-нибудь в Штаты?

— Да ладно тебе, Глебушка, — она уже облегченно засмеялась, — все это фигня, на третий раз действительно не особенно интересно... Скажи лучше, как дела здесь? Что с передачей? Что-нибудь крутое отснял?

Глеб глянул на нее изумленно, и тут она заметила, что и другие в лифте посматривают на нее непросто.

— Ты чего, мать, не знаешь, что ли? — Глеб покачал головой. — Ну, ты отвязалась... Не будет передачи, понятно?

В комнате курили, смеялись, все было, как обычно, но она заметила сразу, что более шумно, более оживленно, чем раньше.

Смеялись немного истерично, говорили чуть громче, чем всегда, и шутки были отчаянней и рискованней, и редактор, самый приличный человек в команде, вдруг выматерился при ней, чего никогда раньше не позволял себе. Так вели себя в классе, вдруг вспомнила она, сорвав очередную контрольную и ожидая прихода завуча...

Домой ехала на такси, не хотелось сразу лезть в маршрутку и метро, всегда давала себе отдохнуть, привыкнуть день-другой после возвращения из поездки. Как-то незаметно успокоилась, злость и испуг, передававшиеся ей от группы, улеглись. Обойдется, думала она, все обойдется, не в первый раз за эти годы, уже и закрывали, и запрещали, и все постепенно начиналось снова и даже круче, все круче после каждого отката, обойдется и теперь...



Таксист ехал через центр, застревая перед каждым светофором — было около восьми вечера, толпа машин сгущалась, перед Лубянской застряли надолго. Таксист обернулся, глянул ей прямо в лицо.

— А я сразу узнал вас, — сказал он. — Сначала везти даже не хотел, а потом решил — отвезу да скажу по дороге, что мы о вас думаем...

— О ком? — не поняла она. — Обо мне? Кто мы? Простите...

— Прощенья потом попросишь. — Таксист уже огибал площадь с памятником, говорил не оборачиваясь, громко, она теперь расслышала дикую злобу в его голосе и сжалась, забилась в угол, к дверце... — Потом у народа прощенья будете просить, поняла?! Кто мы? Русские, вот кто! Против кого вы телевидение захватили... Муудрецы, ет-т...

Обо всем этом она знала, но так, в упор не слышала никогда.

— Я русская, — сказала она тихо, ей тут же стало стыдно, и от стыда, от ужаса, оттого, что теперь поняла — все действительно кончилось, она заплакала тихо, без звука, задерживая, чтобы не всхлипнуть, дыхание, и тут же почему-то вспомнила Дегтярева, как он одевался, глядя мимо нее, и ушел со своей бутылкой, и заплакала еще отчаянней — от стыда и омерзения к себе, и все это каким-то непонятным ей образом связывалось в одно горе — страшный таксист, его злоба, ее месть, и слезы лились, безобразно смывая остатки грима.

Он должен был приехать только через неделю. Это было хуже всего.

Но когда она открывала дверь квартиры, телефон уже разрывался. Андрея еще не было — наверное, опять принимает каких-нибудь фирмачей... Она сняла трубку.

— Я вернулся, — сказал он. — Я вернулся раньше. Завтра увидимся — сейчас говорить не могу. Я люблю тебя, я вернулся к тебе. Слышишь? Завтра увидимся, завтра увидимся...

## **ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.**

### ***ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА***

#### 1

В тесном междукресельном пространстве Ту-154 ноги пришлось подтянуть к животу, и уже через полчаса полета все внутри начало болеть, черт бы побрал их экономию! В подгрудинном привычном месте установился жесткий, угловатый кулак, гастритно-язвенные ощущения отвлекли от жизни, от переживания довольства, удачи, успеха, возможности осуществления желаний.

Но все жарче сияло за окном солнце... И вдруг охватило такое счастье! Боль отпустила, заглушенная глотком, другим, третьим, и бутербродом, который она

достала из какой-то удивительно красивой коробочки, явно от фирменных конфет, или колготок, или еще какой-нибудь чепухи. Бутерброд был правильный, на обычном сером хлебе, крошащемся в руках, с рыночным, чуть оплывшим салом. Был повод посмеяться — интеллигентов сразу видно: виски салом закусывают. У моего дружка, сказал он, написано «а мыло русское едят». Она покатила со смеху, хотя вообще на иронию реагировала сдержанно и не всегда адекватно, ее патетика не принимала его манеру привычного общения с друзьями. Почему мыло? А ты что не поняла? Это же есть такое выражение — «наелся, как дурак мыла», и есть такая басня у какого-то сталинского сокола о низкопоклонниках — «а сало русское едят», и вот, понимаешь, дружок совместил, и получилось дико смешно... Я не поняла, но действительно смешно...

Встали очень рано, и теперь немного выпив и поев, задремали обнявшись, прикинув друг к другу. Он во сне чувствовал своим левым виском ее твердо округленный детский лоб, и дыхание, удивительно чистое для взрослого человека ее дыхание наполняло маленькое пространство между ее и его лицом, отделяя это пространство от остального воздуха, летящего внутри самолета и, в свою очередь, отделенного от воздуха снаружи, от всего яркого бесконечного света.

Какая-то короткая мысль об этом полете внутри друг друга изолированных пространств мелькнула в его голове, но тут же он заснул совсем крепким сном.

А она, наоборот, в эту минуту проснулась. Чувствовала себя удивительно выпавшейся — будто не встала в четыре, не перестирала Нике все белье, не наготовила на два дня еды всем троим — Нике, Андрею и свекрови, которая всегда на время ее отсутствия перебиралась присматривать за сыном и внучкой, не собрала недоглаженное барахлишко, не накрасилась на ходу... И выскочила к заказанному такси свежая, промытая, легкая, ясно глядя на утреннюю пустую улицу, на удивительно интеллигентного вида таксиста, на поднимающийся в сизом небе оранжевый свет дня... На углу, на повороте, стояло другое такси. Она попросила притормозить рядом, он увидел, тут же выскочил, захлопнул дверцу, обежал машину кругом, сунул в окно шоферу деньги — и через секунду уже ввалился к ней. Прижался, пихнул свою сумку на переднее сиденье, прижался снова... Весь час дороги до аэропорта говорили о тяжком, чужом — о делах в ее редакции, о явном откате, о съемках, о том, что Редько ни черта не понял и снимает густой реализм, снова о ее делах и закруте в комитете... Но время от времени он прижимался, приваливался — и все отходило, уплывало.

Она тихонько высвободилась, выпрямилась, устроила его голову у себя на плече, огляделась. В самолете многие спали — регистрация на этот ранний рейс закончилась в восемь и вылетели удивительно точно, по расписанию.

Если самолет разобьется, это будет ужасно, подумала она, потому что обнаружится, что мы летели вместе.

Он проснулся, поднял голову, посмотрел ей близко в глаза сладким, счастливым взглядом.

Если сейчас самолет разобьется, сказал он хриловато со сна, это будет прекрасно. Можно будет считать, что мы вместе прожили жизнь и умерли в один день. Знаешь, сказал он, они жили долго и счастливо и умерли в один день, так заканчиваются

сказки.

Но мы жили недолго, сказала она.

Он положил руку на ее живот и почувствовал, как под его рукой дернулось и напряглось живое, что-то задвигалось, пошло тепло. Он начал яростно прорываться через одежду. Что ты делаешь, сказала она, увидят. Не увидят, сказал он. Рука, придавленная поясом ее юбки, неловко вывернулась, но он продолжал рваться, продираться к ней. Это все уже было, прошла как бы титрами мысль, банальное ощущение повтора, посещающее часто. Но, скользнув, мысль тут же размылась, сгинула, и он все выворачивал руку, и наконец достиг, дотянулся.

Ты совсем другой, сказала она, ты сейчас думаешь о любви, а я о жизни. Я тоже подумала о катастрофе, но испугалась огласки, а ты... Ты — только о любви. Ты смелый, чистый мальчик, я люблю тебя.

Они уже не видели и не помнили ничего. Самолет, к счастью, спал, но даже если бы все проснулись и глазели на них, и могли расслышать каждое их слово и дыхание, даже если бы их вывели на площадь и транслировали их стоны для сотен тысяч желающих, даже если бы позор уже наступил и жизнь потом стала бы невозможной — ничто не могло остановить их.

Не так, сказала она, ниже. И осторожней, не сделай больно, иначе все пропало. Так... О, Господи, что же ты делаешь! Вот так. Еще. Ну... Ну... Да, мой хороший, мой родной. Да. Да. Да.

Он молчал.

Яркий свет утра рвался в самолет. Овальное стекло окна нагрелось, по его спине тек пот. В какую-то секунду он представил себе, каким мятым выйдет из самолета, будет просто неприлично... Эта отвлекающая мысль неожиданно для него самого усилила счастье, он тихо застонал, она — чуть скосив глаза, он это увидел — с твердым, безразличным выражением лица подвинулась в кресле поудобнее, выпростала свою руку и, глядя как бы спокойно перед собой, вдвинула ладонь между его втянувшимся животом и поясом брюк. Я не смогу, сказал он тихо, откидываясь на спинку кресла и одновременно прикрывая полый плаща ее руку, я не смогу сдержаться, не надо... не надо, слышишь... Ну, и не сдерживайся, усмехнулась она, лицо ее было искажено бешеной, злой улыбкой, не сдерживайся, это твои проблемы, я ведь сдержалась... Ты настоящая ведьма, прошептал он, настоящая... Не делай этого, как я встану потом? Трус, сказала она, только и думаешь, как будешь выглядеть. Не бойся, я потом все приведу в порядок, в гостинице. А до гостиницы доехать, выдохнул он, как я доеду до гостиницы в таком виде? Замолчи, хрипло приказала она, молчи и будь наконец собой, трусишка!

Оранжевый свет любви, подумал он, это не лучшее, что можно написать обо всем, что происходит с нами. Оранжевый свет солнца, восходящего рядом с самолетным окном. И когда солнце наконец поднимется до нас, когда его свет окажется уже совсем рядом и целиком поглотит нас обоих, в этот момент можно и умереть, подумал он. Остановятся двигатели, и мы будем падать, и надо будет держать ее изо всех сил, чтобы не вылететь из кресел, не падать внутри самолета, а только вместе с ним.

Не хочу умирать, сказала она, почему ты хочешь со мной вместе умереть, а с нею жить? Я тоже хочу жить с тобой. Пусть не все время, но когда мы вместе, я хочу жить,

а не умирать, понял? И больше не предлагай мне умирать, я не хочу.

...Самолет чуть вздрагивал под ногами пробирающихся к двери людей. Не было и следа от солнечного дня, лил дождь, истошно выл над летным полем ветер, но все теснились, стремясь как можно быстрее на трап, который пришлось ждать слишком долго.

Внизу, у трапа, стояли двое солдат — в нелепо торчащих из-под бронежилетов длинных шинелях, в насаженных торчком поверх ушанок касках, с автоматами, косо лежащими на высоких грудях — словно чудовищные бабы на чайник. Офицер в пятнистом бушлате останавливал некоторых из прилетевших, проверял документы.

Внимательно глянул ей в глаза: «А, прилетели армию позорить... Ладно, еще будет время, дадут и нам слово...» На его документы глянул невнимательно, потом сообразил: «И вы, конечно, туда же... Ладно».

В машине она сникла, сидела отдельно, глядела в окно. Потом сказала негромко, косясь на шофера: «Этот... военный... Как будто пригрозил. Как ты думаешь, не могут сообщить на работу?»

Приоткрыв узкую щель в окне со своей стороны, он курил. Щелчком выбил сигарету наружу, пожал плечами: «Ну, сообщат. А что, собственно, криминального? Едешь на встречу с друзьями, по официальному приглашению, я — по своим делам... На нас не написано, что мы вместе. Так что и огласки никакой бояться не надо. Или ты боишься чего-то еще конкретного? Не бойся, девочка, не бойся... Нам уже поздно бояться».

В гостинице было тепло, тихо, чисто, никто не проявил никаких эмоций ни по поводу их русского языка, ни по поводу их принадлежности к метрополии. В лифте, как в гостиницах всего мира, стоял запах хорошего табака и парфюмерии, сияли темные зеркала. В номере шумело отопление, по телевизору передавали концерт из фрагментов старых фильмов. Вдруг — все-таки другая страна! — показали кусок из «Blues brothers». Пел, нескладно, по-слепому двигаясь, великий Mister Ray Charles. Он играл продавца в магазине музыкальных инструментов, слепого продавца, у которого пацанята пытаются стырить гитару. Намеренно не попадая, а только пугая, гений стрелял на звук, и одновременно играл на электропиано, и пел, неловко дергаясь, склоняясь и распрямляясь над клавишами... *Genius sings the blues.*

Он бросил сумку в прихожей на специальную подставку-столик и, не выключая телевизора, пошел в ванную.

Быстро разделся, свалив всю одежду кучей на табуреточку в углу.

Стал под душ и три раза поменял воду, крутя краны, словно ручки управления каким-то важным прибором, — холодная до упора, горячая до предела терпения, опять холодная, опять горячая, опять... Пульт управления телом.

Вытерся большим полотенцем с петелькой в углу и фирменной надписью — все-таки это их гостиница! Не разговорали, хотя открыты уже давно.

Осмотрел внимательно одежду — все обошлось, небесная страсть не оставила следов.

Оделся старательно, долго стоял перед зеркалом. Мог бы, конечно, быть и помоложе. Но еще вопрос, было бы это лучше или нет... Каждому идет какой-то

возраст, ему, видимо, больше всего подходит не юношеский.

Блюз еще длился. Mister Ray Charles. The Great.

Студия, подписи, пустой разговор, осторожное сочувствие, осторожное дружелюбие. Чужие люди... Может, рюмку коньяку? У нас это еще возможно. Спасибо. Еще одну? Одну, спасибо — и все... Чужие, чужие люди, пустой разговор... Знаете, господин москвич, теперь это уже непоправимо. Вы понимаете нас, надеюсь? Мы, балтийцы, уже никогда не сможем быть с вами на ты, я правильно выразился? Давайте выпьем с вами эту рюмку коньяку, но не будем лгать друг другу о дружбе...

Блюз чужой жизни.

Сейчас она, наверное, уже кончила запись, подумал он, и неплохо было бы, если бы они привезли ее в гостиницу пораньше. Конечно, они не отпустят ее одну... Трудно привыкать ждать любимую, которой угрожает настоящая опасность, подумал он.

И поинтересовался, нельзя ли в этом баре взять бутылочку коньяку с собой.

Когда он вернулся, концерт повторяли. Это была какая-то странная, бесконечная программа, а может, телевизор был настроен на заграничную передачу, кто их знает, что здесь теперь возможно...

Рэй Чарльз снова стрелял на звук и принимал к клавишам.

Блюз со стрельбой.

Она тихонько постучала в его номер около десяти вечера. Устала ужасно, сказала она, но глаза сияли. Знаешь, так здорово все прошло, и, по-моему, я всем понравилась. Как я выгляжу, правда, хорошо? Правда, я хорошенькая? Они говорили такие добрые слова, такие милые люди. Знаешь, один, такой пожилой дядька, поцеловал меня прямо во время записи. Смотрите, я целую русскую, и мы оба живы, говорит, и все засмеялись, а мне перевели. А ты опять пьешь? Ну зачем? Будешь глупеть, болеть, и я тебя брошу, я терпеть не могу пьяниц, мне их даже не жалко...

Он смотрел на нее молча, исподлобья. На ощупь взял бутылку, вылил последние капли в стакан, выпил. Разлепил стянутые от коньяка губы.

Слава Богу, живая, сказал он. Это все сон, этого ничего нет, нам это снится, поняла? Это сон, ничего этого нет и быть не может, мы не прилетали сюда, просто мы с тобой у себя дома, это наш с тобой дом...

Ты уже много выпил, вздохнула она. А что же не сон, спросила она, что тогда не сон?..

Он молча потянулся к ней, встал, задев пустую бутылку, обнял, сжимая изо всех сил.

Мы с тобой, сказал он, мы с тобой — единственная явь...

Ночью, когда от холостого выстрела танковой пушки лопнул и рассыпался темный воздух, в звоне, доносящемся со всех сторон, — осколки выбитых оконных стекол выпадали после выстрела еще какое-то время — он кричал, забыв обо всем, кроме ее жизни: «Нет! Нет! Нет!» И, столкнув ее на пол, навалившись, прикрывая, глядя в ее невидимое лицо, повторял бесконечно: «Нет... нет... нет...»

И она понимала, что это он отвечает на ее слова, сказанные в самолете.

Не хочу умирать, сказала она утром.

Нет, отвечал он в грохочущей и звенящей ночи, нет, ты не умрешь, мы выживем — ведь это же я все придумываю, в конце концов.

Я очень люблю тебя, сказала она.

## ДОРОГА. ФЕВРАЛЬ

Было так, словно пропал звук.

Черные машины летели, все набирая скорость, одна впереди и чуть сбоку, следом цепочкой три, следом опять одна чуть сбоку.

Метрах в ста перед кортежем неслась патрульная, раскрашенная, с фонарями и сиренами.

Но звука все не было.

...В тишине взвивался и опадал мелкой пылью снег, в тишине они летели, в тишине поглощали они дорогу — черные колесницы власти — в тишине...

Предыдущую ночь провели в чьей-то даче. Вскрыли веранду и, как настоящие бомжи, прежде всего бросились шарить по припасам. Нашли консервы, крупу, подсолнечное масло, старую, с рассыпающейся спиралью электрическую плитку. Спираль скрутили удачно, Юра мгновенно приготовил еду. Голодны были отчаянно, вторые сутки не выходили на люди — подстраховывались от случайного памятливого на лица встречного. Теперь ели ссохшегося лосося с гречневой кашей, политой подсолнечным маслом. Дай Бог здоровья, хорошие люди оставили, сказал Юра. Сергей привычно по зековско-солдатски сел на корточки у стены, закурил, экономно, глубоко затягиваясь.

Его мы должны отпустить, сказал Олейник. С ума сошел, капитан, изумился Сергей, с проклятьем швыряя микроскопический, обжегший пальцы окурок в холодный зев нерастопленной печи. С ума сошел?! А баб наших они нам так отдадут, за то, что стрелять толком не умеем? Или за то, что нам одного из них же, который им почему-то мешает, жалко стало? Нет, это не игра... Юльку я у них вытащу, хотя бы для этого пришлось замочить все начальство в мире...

Ты даже не пытался подумать, Сережа, сказал Олейник. Все это время ты исправно готовился к драке и даже не подумал, чем она кончится.

Похоже, что она не кончится ничем хорошим, сказал Юра. Давай послушаем Володю, Сережа, ты ж, наверное, согласен, что он побольше нас с тобой просек эту жизнь.

Сергей сидел на корточках неподвижно, только судорога дергала лицо. Рыжие кудри отросли и спутались, но и они, и рыжая щетина необъяснимым образом придавали ему дополнительный модный шарм — жиголо не истребить образом жизни советского бездомного ханыги.

В любом случае они не отдадут нам женщин, не выпустят из страны... Да и вообще

вряд ли оставят кого-либо в живых после дела, сказал Олейник. Неужели это не понятно? Нас убьют всех до единого, и бедную свою американочку ты если и увидишь, то лучше бы тебе не видеть ее в том ужасе, который нас ждет.

Погоди, Володя, сказал Юра, что же ты предлагаешь? Или ты отказался уже и от Гали? Не думаю, не похоже на тебя... И если мы не сделаем дело, отпустим его машину, нам что, легче будет своих выручить? Ты ж знаешь, я от всей этой кровищи проклятой уже чуть не съехал з разуму, та шо ж зробишь? Своих-то жальчей... Он стал вставлять украинские слова и не замечал этого.

Своих выручить — отдельная задача, операция и ее результат — отдельно, сказал Олейник. Если мы уберем его, нам не станет ни лучше, ни хуже, и наших выручать будет не легче. Но им, — он ткнул рукой куда-то в сторону, и все поняли, о чем речь, — им всем станет плохо, очень плохо. Наутро после операции по улицам пойдут танки, поймите, ребята. Я давно попрощался с этой страной. Я не люблю никого, кроме Гали, и вы это знаете. Но я не могу забыть о них — он снова ткнул рукой в сторону, не то в дверь, не то в окно, — я не могу своими руками вернуть их в ад.

Сергей сидел на корточках, обхватив голову руками, лица его не было видно, Олейник и Юра уже поняли, что он плачет, но когда под его склоненным лицом, на пыльном полу перед ним появилось и расплылось небольшое мокрое пятно, Юра не выдержал — шагнул к двери, пинком распахнул ее настежь, вышел на свежесасыпанное снегом крыльцо. Закинув голову, глядя в небо, с которого ровно, тихо, безветренным счастьем падал снег, Юра стоял на крыльце, разминая пальцами неприкуренную сигарету. Вышел и Олейник, стал рядом.

Страшно очень, Володя, сказал Юра. А то не страшно, согласился Олейник. Уж если Сережку до слез достало...

Желтый слабый свет пыльного ночника, найденного в хламе, падал из двери на снег. Пошли, сказал Олейник, надо лампу гасить, а то засекут соседи.

Сергей все сидел на корточках, но плечи его уже не дергались.

...Наконец звук прорвался.

С путепровода ударил, настигая машины, гранатомет. Юра стоял в рост рядом с угнанным час назад «жигулем», труба лежала на его плече.

От угла глухого бетонного забора лупил безостановочно, нескончаемо пулемет. Сергей лежал у забора, в снежном окопчике, окопчик был вытянут в длину и уходил лазом под забор, на пустую по воскресному времени производственную территорию.

Олейник уже несся навстречу машинам на КРАЗе. Шофер КРАЗа, в надвинутой на лицо подбородка черной вязаной шапке, перетянутой через рот бинтовым жгутом, с вывернутыми назад руками в наручниках и спутанными ремнем ногами, корчился на сиденье рядом. Угнувшись ниже руля, Олейник ударил в бок начавшей разворачиваться поперек дороги гаишной БМВ, отшвырнул ее метра на четыре в сторону и одновременно развернулся сам, задними колесами, кузовом сбрасывая с дороги уже издырявленную до металлических ключев Сережкиным пулеметом первую машину сопровождения. И тут же съехал с полотна, пошел по целине. Гигантский грузовик прыгал и взлетал, словно малолитражка.

Тяжким снарядом, но успев чуть вильнуть, пронесся мимо первый ЗИЛ.

Второй горел, развороченный гранатой. Вверх колесами скользила по дороге замыкающая «Волга». Третий ЗИЛ пытался объехать дымный костер, но в это время вторая граната пробила точно центр его крыши. Внутри бронированного гроба полыхнуло, из распахнувшейся двери вывалился горящий человек.

А первый уже набрал скорость и уходил к городу.

Глядя прямо перед собой в едва заметную мелкую сетку трещин на стекле, словно что-то пытаюсь рассмотреть со своего места через это переднее стекло, сидел в уцелевшем ЗИЛе человек в ровно надвинутой на лоб короткошерстной меховой шапке, в сером, из толстой и мягкой, с поблескивающим ворсом ткани, пальто, из-под которого чуть выбился сине-вишневый шарф. Его губы были крепко сжаты в обычной, чуть презрительной гримасе, и только кровь, вытекшая из нижней, прокушенной, была странна на этом лице.

Он достал из кармана платок и вытер подбородок, потом, не глянув на платок, сунул его в карман. Так же, не глядя, нажал кнопку.

Сказал в радиотелефон негромко: «Вы будете лично отвечать, если информация об инциденте просочится. Лично с вас спрошу».

Тот, к кому был обращен приказ, изумился: человек из ЗИЛа говорил спокойно, твердо, голос его был совершенно обычным.

Ночью ему стало плохо. Рядом с врачами сидела жена, врачи неотрывно следили за тихо гудящими, разноцветно мигающими приборами, ползли на пол бумажные ленты, а она смотрела на него и видела отчаяние, бессмысленно-испуганный взгляд и по-стариковски бедно торчащие волосы, среди которых уже нельзя было найти ни одного не седого.

## 2

В очередной ссоре уже через десять минут нельзя было припомнить начало. Заводились всегда из-за прошлого. Он чувствовал, что по лицу бродит злобная, непримиримая усмешка, но ничего не мог поделать с собой — и ее прошедшая, и длящаяся сейчас, отдельная от него жизнь вызывала ненависть: чужда, неприемлема. Вокруг нее были люди, с которыми у него не могло быть ничего общего, а она существовала среди этих людей, понимала их, иногда сочувствовала, и он впадал в бешенство, желая смерти... Видел вчера твоего Дегтярева. Красив, небрежен, мудр и полон по поводу происходящего такой же принципиальной преданности, как и десять лет назад. Обожает прогрессистов, ненавидит ретроградов и в полном восхищении от себя самого. Как был шутком при хозяевах, так и остался. А ты, я уверен, с ним все никак не распрощаешься, старое поклонение так просто не проходит. Изумительная по пошлости ситуация, полностью описываемая песней «Маэстро». Ты, наверное, любишь эту песню? И он любит? А? Ну что же ты молчишь?

И ее лицо искажалось нелюбовью. Твердое, с простоватыми чертами и



невыразительно-серьезным в обычное время взглядом, лицо провинциальной функционерши из скромных — она знала, что выглядит сейчас отвратительно, и ненавидела его прежде всего за это. Ты судишь всех, а почему, собственно? Просто хочешь выжечь землю вокруг меня, уничтожить даже всякую мысль о том, что я могу жить самостоятельно, отдельно. Хорошо, допустим, меня это устроит, я откажусь от своей жизни, от своих друзей, от своей семьи. А ты ведь даже не спросил, как зовут мою дочь, за все это время ты ни разу не поинтересовался ею... Ладно, я готова. Но разве ты зовешь меня в твою жизнь? Только в постели твердишь — я хочу быть с тобой, я хочу быть вместе, давай надеяться... Ты повторяешь эти слова с такой безответственностью, от которой я иногда перестаю верить в твою любовь! Ты говоришь — уедем, спрячемся, как-нибудь устроимся — и я начинаю жить по-другому, я начинаю все разрушать вокруг себя, я прямолинейный, серьезный человек, у меня нет чувства юмора, я слышу слова так, как они слышатся... А на следующий день я узнаю, что вы с Ольгой берете собаку, ты так и говоришь — мы решили, нам тоскливо, мы, мы... Как же я должна понимать свою жизнь?! Я не могу так — из огня на лед, от этого камень трескается!

Он одумывался быстро — ее странно появившиеся слезы, от которых лицо не меняло сухого, твердого выражения, только становилось мокрым, как будто после умывания, — ее слезы сразу растворяли его непримиримость, злобу, сердце щемило от жалости, сочувствия к ее обиде, от стыда... И самое главное во всем было то, что она была права: его фантазии были просто разрядкой, которую он позволял себе, расслаблялся, бредил сладко вслух, а она действительно все принимала всерьез, и, конечно, не из-за того, что юмора не было, при чем тут юмор — кстати, сама иногда демонстрировала иронию блестящую и едкую — просто не была настроена на принятое в его кругу постоянное ерничанье, а серьезна была потому, что намучилась еще больше, чем он. И мучения были настоящие, не его страдания с постоянным наблюдением за собой со стороны, не игра в сюжет...

И он плакал тоже — с возрастом вообще стал непозволительно для мужика слезлив, а с нею особенно. Да и без нее... Вдруг вспоминал о том, что ничего уже не будет. Стоял в ванной, бреясь, кривя рот, бессмысленно глядя в зеркало, дочичая щетину в углубляющихся день ото дня складках у рта, — вдруг начинал реветь, жутко и отвратительно гримасничая, бросив бритву в раковину...

Они сидели в очередной мерзкой обжорке, которую он открыл в бесконечных поисках пристанища посреди рушащейся, умирающей Москвы.

Ну, все, все, миримся, хватит друг друга терзать, все. Ты же понимаешь, это просто ревность, я не могу примириться, что ты раньше была с ним, вообще — с кем-то. Я не знал раньше, что это такое, как можно мучиться из-за прошлого, это Бог наказал за то, что я никогда не мог понять, какая это мука — ревность... Ну ладно, хорошо, мальчик мой, успокойся, ничего нет, ты даже не понимаешь, насколько уже ничего нет, кроме тебя. Перестань... Я-то знаю, из-за чего бешусь. Из-за того, что давно не были вдвоем, вот из-за чего. Надоели эти забегаловки. Едим и пьем, ты меня все кормишь, и я стала толстая, да? И злюсь, потому что соскучилась, не могу больше, кошмары мучают... А Андрей?.. Что Андрей?! Ничего ты не понимаешь. Хочу к тебе... Ноги сводит.

Пристанища, действительно, не было уже давно. После той грохочущей ночи в гостинице опомнились не сразу, а когда опомнились — места не находилось, хоть

убейся.

Наконец Андрей уехал на несколько дней в Италию. Ничего не видел, не понимал и, собираясь, лихорадочно рассовывая в карманы и сумку паспорт, бумаги, рубашки, говорил только об одном — контракты, переговоры... Оказался удивительно толковым бизнесменом, вовсе бросил чистую науку и торговал по всему миру и своими собственными разработками, и приятельскими. Она страшилась, что заметит сияние в глазах, а он смотрел, не видя, и с восторгом рассказывал о конкурентоспособности. Представляешь, по идее наши технологии на их уровне проходят!..

Она осталась одна, но только на третий день сказала ему об этом: боялась, что вспомнит гостиничную ночь и ничего не сможет.

Он приехал под вечер — невесть чего наплел дома, выдумал небрежно — и остался на сутки. Ника была у бабушки, ее неожиданное возвращение было заблокировано гололедом, поскольку старуха, наученная опытом многих подруг, панически боялась упасть. Тем не менее несколько раз туда звонили — для гарантии.

Было так, как даже у них никогда до этого не было.

Прикрывая рот рукой, вцепляясь зубами в тыльную сторону ладони, она закидывала голову, тихо, задушенно — днем в пустом доме все звуки слышны из квартиры в квартиру — выла, тянула тонкую, нечеловеческую ноту. Его обливало снизу огнем, и рычание его перекрывало ее визг, он вцеплялся в нее зубами и тут же отпускал, напуганный. Сосок распрямлялся, сбоку он видел вырастающий розовый купол, он закрывал все поле зрения, потом вдруг отодвигался, делался маленьким, горестно-жалким, подушечка указательного пальца перекрывала его, а он рвался наружу, распрямляясь...

Она действительно поправилась, и, глядя на нее снизу, он замечал, что над животом появились складки, и грудь лежит тяжелее. Наклонялась, лицо придвигала близко. Я тебе не нравлюсь, толстая? Ты специально раскормил меня, чтобы бросить... Ну и пожалуйста, останусь на память о тебе жирная, хватит запасов на первое время, когда голод начнется.

Откидывалась, сильно прогнувшись.

Он открывал глаза, смотрел неотрывно — это было, как небо, если глядеть в него, лежа на земле. Притягивало глубокой, бесконечной, ненаполняемой пустотой.

Их волосы спутывались.

И, подброшенный силой, которой в нем не было, да и не могло быть, он яростно исходил любовью и чувствовал, как она возвращает ему любовь.

Потом ели лежа, пили привезенный ею специально для него тамошний виски, «Сантори». Не одеваясь, она бегала на кухню, он смотрел на нее и, как всегда, изумлялся сходству тела с камнем, с большой галькой. Она сидела рядом по-турецки, на брошенной поверх тахты простыне, ела с детской жадностью. Он протянул руку и погладил. Такое получается, если вода долго гладит камень, сказал он. Или если ты гладишь меня, сказала она.

Вдруг опять отчаянно поссорились. Она почему-то вспомнила, как долго и тяжело изживала южный акцент, хороша была бы из нее дикторша с мягким "г" и английским

«дабл-ю» вместо "в"... Сразу полезли ассоциации, он взбесился. Осталась навеки благодарна учителю? Сколько можно рассказывать о своих романах, своих отношениях... Ну конечно, ты же привык сам быть центром мироздания, только твоя жизнь представляет интерес. Да, ты знаешь, я действительно так привык, а с тобой я все время чувствую себя средством. Что?! Да-да, средством! Мы поменялись ролями! Мне все время кажется, что ты меня прервешь на полуслове, как грубый мужик прерывает глупую девчонку, и скажешь — раздевайся, дура! Мне кажется, что ты действительно интересуешься мною только лежа... Ты усвоила все худшее в мужском поведении...

От сказанного самого окатило ужасом. Но помирились удивительно быстро, и, счастливо глядя в его лицо снизу, она повторяла — ну что, разве это плохо? Раздевайся, дура, раздевайся, я так и буду действительно говорить сразу, и тогда мы никогда не будем ссориться. Ты права, мы не можем поссориться, если не одеты. Родная... Вытянись, вытянись, лежи ровно и спокойно и смотри на меня. А-а, да что же это?! Все.

...Ноги сводит, воровато оглядываясь на соседние столики, повторила она, так хочу, что сводит ноги. А мы все шлеемся по всяким забегаловкам, все едим — сколько можно? Придумай что-нибудь.

Кафе было еще пару лет назад обычной столовкой, с макаронами и компотом. Теперь окна затянули темными тряпками, стены обшили панелями под дерево, свет приглушили, в углу появилась стойка, украшенная бутылками и коробками от нездешних напитков и сигарет, непрерывно орала музыка, и мигал экран телевизора. Тина Тернер и — ламбада, ламбада, ламбада...

Что ни поешь, получается пошлость, сказал он. На самом деле то, что происходит с нами, гораздо проще и хуже, и нет этих подразумеваемых глубин, и в жизни чувство не выделяется абзацем, и нет ритма красиво неоконченных фраз... Страсти наши — страсти пустых людей. Но живых! Пустых, но живых. И не пошлых, потому что живые люди не бывают пошлыми... Но я не добираю до упора, не доскребаю до дна, до жизни. Наверное, подсознательно боюсь — слишком страшно быть живым и писать о живых.

Я не представляю, сказала она, как будут снимать нашу линию. Все эти твои погони, стрельба и ужасы — это они снимут, но как будут снимать нас? Получится обычная порнуха или мелодрама, приторная, как индийское кино. И потом — мне не нравится эта, которая меня играет. Я видела в журналах. И в одном фильме, не помню название. Она была ничего, но слишком страдала. А я, вообще-то, не люблю страдать, ты меня неправильно представляешь. Вот достань ключик, и не будет никаких страданий... И у тебя наверняка с нею шашни, да? Ты не пропустишь... Только не убивай нас, ладно? Не убивай и не мучай меня, я не выдержу. Она будет играть героиню, стойкую и нескгибаемую, а я не выдержу.

Милая моя дурочка, сказал он и положил руку на ее колено под столом. Тепло пробилось через брезент джинсов, рука — словно перышко «86», притянутое на школьной переменной магнитом через тетрадный листок, прилипла и поползла. Любимый... Девочка...

В кафе что-то происходило, он заметил это — будто сдвинулись немного стены,

будто стала немного фальшивить, подплывать музыка из сломавшегося магнитофона, будто люди — нечисто бритые разбойники с ближайшего рынка и здоровые амбалы в кожаных куртках, ожидающие сигнала ехать куда-нибудь на разборку, — замолчали все разом, будто тень напозла на эту паршивую помойку. Ну настоящее «Лебединое озеро» — сейчас ударят в оркестре литавры, и появятся силы зла, подумал он.

Ламбада кончилась, и длинным соло загрохотали барабаны во вступлении следующего клипа.

Тут же к столику подошел какой-то седой — в моднейшем двубортном костюме, прекрасном галстуке под туго стянутым воротом рубашки. Настоящий крестный отец из этих новых бандитов — только причесочка, аккуратная седина чуть на уши, да одутловатое лицо старой бабы выдавали комсомольского секретаря благословенных семидесятых.

Сел за столик, улыбнулся открыто, по-молодежному.

— Узнаете?

— Вроде бы, — неуверенно ответил Сочинитель.

И ужаснулся. Все! Он уже назвал мысленно свое имя, и теперь не скрыться! Не исчезнуть из Сюжета...

Изнутри уже поднималась неумная дрожь, памятная по юным временам. Перед дракой всегда было невообразимо страшно, особенно боялся бить в лицо, но знал, что бить надо именно в лицо, и страшно было нестерпимо, и невозможно было обнаружить страх при ребятах, и дрожь колотила все сильнее, а с дрожью драться нельзя.

— Вроде бы... Игорь Леонидович?

— Он самый. — Седой улыбнулся уже совсем широко, радостно. — Узнали! Вот что значит — хорошо пишете, люди как живые... С первого взгляда узнаются... Ну, тогда и объяснять ничего не надо, правильно? Сразу поедем. А вы, — он поклонился, не приподнявшись, в ее сторону, — уважаемая Любовь...

И она, и ее имя, молча закричал Сочинитель. Но ведь я не называл ее, я вообще не давал ей имени! Ни на бумаге, ни даже в мыслях, откуда же он знает? Неужели имя просто получается из Сюжета? Значит, и ей не спрятаться... Будь я проклят, подумал Сочинитель. Я виноват во всем и еще не знаю, сумею ли выпутаться...

— Любовь, простите, отчества не знаю, да, собственно, и имя-то ваш друг не удосужился толком придумать... Вы, Любочка, в общем, сразу идите, вас уже ждут в машине. А мы следом, правильно?

Она шла к двери, задев только столик в проходе, не оглядываясь, не торопясь, — спокойно, не слишком быстро, но и не мешкая.

— Ну, поедем? — Седой закурил, протянул пачку Сочинителю. — По сигаретке — и двинули? Не станете ж вы сопротивляться собственному сюжету? Тем более что вы его с прописной пишете... Сами виноваты — не надо было ребят так настраивать, что с ними работать невозможно. Делали триллер с политической окраской — ну и делали бы нормально, без всяких этих изысков и усложнений. Они его устраняют, мы берем власть, наступает железная пята — вполне в духе времени, книжку из рук бы рвали,

кино получилось бы — класс! А теперь чего добились? Нас-то и так устраивает, такой исход тоже на нас работает, и еще, может, эффективнее и проще, вот увидите... Но ребят-то искать надо! Это ж убийцы, их разве можно на воле оставлять? Так что придется привлечь и вас к необходимому для общества делу... Поехали, поехали.

Когда они вышли, от тротуара немедленно отошла одна черная «Волга», на ее место стала другая, шофер, перегнувшись через спинку сиденья, распахнул заднюю дверцу.

Выглядело все это откровенней некуда: шофер — в форме.

Но Сочинитель уже ни на что не обращал внимания. Он смотрел вслед удалявшейся машине. Там, в поблескивающем заднем стекле, еще можно было разглядеть два силуэта, две женские головы.

Ольга сидела слева.

## СКАНДИНАВИЯ. ФЕВРАЛЬ

Слева стояли тоскливые, предвоенной постройки, четырех-пятиэтажные дома. Их ровные, без балконов, будто грубо обструганные фасады темно-красного кирпича и черные квадратные окна глядели тюрьмой. За кварталом этих домов, выстроенных для рабочих на заре здешнего унылого социализма и занятых теперь изысканными студиями разбогатевших авангардных дизайнеров, элитарными издательствами и компьютерными фирмами, за скалистой горой собора начинался квартал совсем сомнительный. Там, на территории, действительно принадлежавшей давно закрытой старой тюрьме, обосновались любители травки и ширяльщики, бродяги, приторговывающие оружием из идейных соображений, однополые семьи, восточные революционеры, состарившиеся американские шестидесятники, дезертиры, беспощадные борцы за чистоту природы. К старым тюремным корпусам жались хибары из кривых досок и жести, а брандмауэры самих корпусов были расписаны кляксообразными литерами лозунгов и птиценосыми фигурами из комиксов в устаревшем стиле «Желтой субмарины». Среди хибар и фресок бродили огромные белые собаки, здесь на них была мода, и грязные дети. На дорожках гнили старые листья, чавкала грязь. Торжество левых идей здесь, в небольшом районе, выглядело точно так же, как торжество левых идей где бы то ни было. Правда, в баре свободно продавалось пиво, и хотя полы в баре были, вероятно, самыми грязными в западном мире, пиво, как и всюду, было нормальное. А если присмотреться к посетителям бара, можно было и в них обнаружить — под цветным рваньем, кожей, молниями, черными майками, серьгами, выбритыми затылками и косичками — старательных и аккуратных школьников на каникулах и умелых мастеровых, костюмированных для рекламы. Настоящих чокнутых было процентов десять. Они и выглядели по-настоящему: довольно аккуратно, но старомодно и потерто, хотя и стильно одетая пьянь. Розовые набрякшие лица, плывущие глаза и тонкие ноги женщин — одинаковые у пьющих баб от Трех Вокзалов до, вероятно, Патагонии.

Справа черной засвеченной кино пленкой тек канал. Тяжелое инопланетное тело баржи возникало гигантской тенью, небольшие катера поблескивали легкомысленными разводами декоративных росписей, яхты светились будуарными

окошками кают. Вечная контрабанда жизни шла вполголоса на палубах. Вода была беззвучна и лежала тяжело, ровно.

В медленно движущемся по набережной одиноком «мерседесе» сидели двое — водитель и еще один человек на заднем сиденье, напряженно глядящий вперед. Шляпу он снял и держал на коленях, и когда в глубь машины проникал случайный свет редкого уличного фонаря, мертвенно белела лысая голова и желто-красным звериным огнем вспыхивали неподвижно, внимательно глядящие глаза.

Из боковой улицы вышли трое. Два обычных здешних парня — в высоких ботинках «Doctor Martin», в узких, высоко подвернутых джинсах и старых, обвисших драповых пальто с блошиного рынка — вели под руки невысокого, полного и очень элегантного господина в длинном светлом плаще. Господин шагал неуверенно. Машина остановилась. Трое подошли, шофер открыл правую переднюю дверцу, и маленький господин тут же оказался на сиденье рядом с ним. Дверца захлопнулась, парни остались снаружи — один прямо возле машины, другой отошел чуть вперед, закурил...

— Скажи ему, — хриловато произнес человек с заднего сиденья, и маленький живо обернулся на звук его речи, обнаружив темную повязку, закрывающую почти все его лицо, от поросшей редкими черными кудрями неаккуратной плечи до скошенного подбородка в редкой же черной бороде, — скажи ему, что у нас все идет по известному плану. Поворот произойдет. Он уже произошел, как известно, но мы на этом не остановимся. Теперь человек, о котором мы говорили в прошлый раз, будет всегда действовать по нашему плану. Повтори это ему, он должен понять. Поэтому и дальше все должно идти по нашему общему плану. Скажи ему, что они начали неплохо, но если они остановятся на половине дороги, ни им, ни нам не удастся ничего. Объясни ему, что на этот раз ни мы, ни они не можем отступить — надо показать всем, что идея жива. Скажи ему...

Шофер быстро, слитным кашлем, выплюнул десяток арабских фраз. Повернув теперь уже к нему перетянутое черным лицо, маленький внимательно слушал. Когда переводчик закончил, в машине зазвучал тонкий, детский голос, придыхания восточной речи плохо сочетались с таким тембром.

— Он говорит, что ваша информация только подтвердила их оценку происшедшего, — перевел шофер. — Они не придают значения неудаче...

— А откуда они знают, что вообще неудача произошла? — перебил лысый. — У нас утечки не было, он блефует...

Шофер бормотнул вопрос, выслушал сладкоголосый ответ, и, когда переводил его, в его собственном голосе был едва уловимый оттенок усмешки.

— Он говорит, что утечки информации действительно не было, информация шла только по нормальным каналам: вам и им. Он говорит, что они не могут получить только ту информацию, которой не существует.

Дождавшись, когда переводчик замолчал, тонкий голос снова наполнил машину клекотом.

— Он говорит, что они в целом удовлетворены ходом дела. Они рады, что сатанинскому духу индивидуализма бедные страны снова противопоставляют единую

силу народов, которые не променяют на дьявольский соблазн благополучия великое счастье умереть за общее равенство. Он говорит, что вся история есть история противостояния человеческого моря Востока западным жрецам горделивой личности. И они счастливы, говорит он, что великая евразийская держава, сбившаяся на несколько лет со своего исторического пути, возвращается в сообщество покорных единому Аллаху.

Дверца распахнулась, маленький господин вылез. Тут же парни взяли его под руки. Раздался едва слышный стук мотора, по каналу — темное на темном — скользнул катер и пристал точно в том месте, где остановились трое.

Хлопнула дверь, машина рванула с места и помчалась — мимо биржи, мимо старого дворца, мимо быстро сменившихся окраинными коттеджами деловых небоскребов черного стекла — на шоссе, к аэропорту. Лысый надел шляпу, откинулся, прикрыл погасшие желтые огоньки тонкими, как у птицы, веками — задремал. Шофер смотрел на дорогу, выражение лица у него было устало-брезгливое. За три года службы в резидентуре ему осточертели эти визитеры, не знающие ни одного языка и обращающиеся к нему не то что без имени-отчества — просто «ты», без имени. Этот еще оказался приличней других: прилетел, сделал дело — и назад. Не шастал днем по магазинам, не поручал поиски всякого дерьма на распродажах по бабьему списку. Видно, действительно — с самого верха. Впрочем, все равно сволочь...

Маленький господин ступил на палубу катера. Палуба была пуста, никто не вышел из каюты, в ее освещенных окнах вообще не было видно людей. И то, что катер тихо скользил, что тихонько бормотал под палубой двигатель, наводило на мысль о призраках, таких уместных среди черных домов, черной воды, черных шпилей на черном небе и черных человеческих фигур, неподвижно стоявших на палубе.

Переведя маленького господина по короткому трапу на палубу, парни отпустили его и отошли в сторону. Господин, вытянув короткие ручки, пытался нащупать перед собой и по сторонам какую-нибудь опору, но ничего не находил. Черную повязку он снять не пытался — видимо, соблюдая достаточно серьезный уговор. Тем временем один из парней на цыпочках, беззвучно, шагнул ему за спину и вынул из кармана чуть блеснувшую тонкую цепочку. Это была обычная, сантиметров в тридцать пять цепочка для ключей, и на одном ее конце действительно звякнули нанизанные на кольцо ключи, а на другом болтался брелок — маленькое, но тяжелое каменное яйцо. В случае необходимости, хорошо раскрутив цепочку, этой штукой можно было проломить висок.

Парень накинул цепочку сзади и, резко рванув, прервал уже почти вышедший из глотки маленького человека крик. Тут же убийца стянул концы цепочки под затылком — они едва сошлись на толстой и короткой шее — и, еще раз резко рванув, разведя руки в стороны, задушил человека. Потом он снял с его шеи цепочку и сунул в карман.

Второй уже вытащил из-под светлого плаща маленький магнитофон и положил его в свое пальто.

Тело осталось лежать на палубе, возвышаясь неопознаваемым с набережной мешком. Катер быстро шел к мосту, парни, наклонившись, трудились над трупом.

Под мостом они спихнули его в воду. Когда тело опустилось на дно, заложенные во все карманы плаща, пиджака, брюк небольшие взрывные устройства разнесли его на

куски. Взрыв из-под воды был почти не слышен. Куски не должны были всплыть — к рукам и ногам, голове и груди стальной проволокой были примотаны грузила от больших сетей.

— Everything o'key, I think, — сказал тот, который душил. Покачиваясь, распахнув пальто, он мочился с борта. — Life is life, eh? We don't need this kid more. He has made his last connection — our bosses can have their fucken caviar at their fucken dachas... Well. I hope, his blackassholes, his friends willn't find him for reconstruction. I don't wish such bad thing to them, to our dear friends from the East...

— Shut up, you! — Второй прикуривал, и ответ его был неразборчив. — You are so brave here... But I wanna see you in Lebanon... With your fucken chain...

### 3

Неужели вы не понимаете, сказал Сочинитель, что я не имею влияния на них? Это они действуют, а не я. Это ведь так элементарно, и всюду написано, вы не могли этого не читать. Ну, вспомните же, Татьяна удрала такую штуку, вышла замуж! И он удивился, а сделать ничего не мог. А ведь не мне, согласитесь, чета, даже и говорить неловко... Они имеют самостоятельную волю, поймите! Вы должны понять...

Ликбез мне читаете, усмехнулся седой, классику... Это все оставьте для поклонниц, у нас разговор серьезный. Либо вы продолжите ваш сценарий таким образом, чтобы он нас устраивал, либо... Через несколько минут здесь установят монитор, мы вам хотим кое-что показать.

Я ничего не могу сделать, сказал Сочинитель мертвым голосом, и в этот только момент сам окончательно понял, что действительно не может, даже если бы решил. Сюжет будет развиваться единственно возможным для него и для нас всех путем. Все, что должно произойти, произойдет, и я не могу ничего с этим поделаться. Есть вещи, которые сделать не можешь, понимаете? Даже если хочешь. Просто ты так устроен и не можешь написать то, что не можешь, как не можешь прыгнуть в высоту на два метра... То, что вы хотите, может написать только другой человек, но и он не напишет, потому что Сюжет — мой. Иногда со стороны это все кажется несерьезным. Например, во мне многие запреты на развитие Сюжета связаны с моим застарелым, с детства, желанием казаться лучше, чем я есть на самом деле. С желанием выглядеть красиво, понимаете? И я не могу...

Сможешь, перебил его седой, и Сочинитель понял, что допрос вступил в новую фазу — грубый тон, обращение на «ты» и, видимо, угрозы... Сможешь, повторил седой, и яйца тебе откручивать не будем. Сам сможешь. Ты же ведь все равно будешь додумывать свой Сюжет, никуда не денешься, не выключишься. Так что не в наших интересах тебя лупцевать, а то и правда сочинять перестанешь. Сиди, думай... Заодно посмотришь, что ты можешь, а что нет. Продемонстрируем тебе твои возможности, ты их еще не знаешь...

Он вышел, не прикрыв дверь, в которую тут же протиснулся тощий и очень длинный солдатик. Рукава гимнастерки ему были чуть за локоть, сапоги свободно



болтались на худых ногах. Не глядя на Сочинителя, солдатик поставил на стол в углу небольшой телевизор. Монитор, вот это и есть монитор, подумал Сочинитель. Переросток в форме уже воткнул разъем со многими штырями в ранее не замеченную Сочинителем розетку в углу и вышел.

Экран медленно осветился, но еще до того, как на нем появилось изображение, Сочинитель похолодел. Он услышал частые выстрелы, грохот вертолетного мотора и понял, что, если он будет продолжать свой Сюжет со всеми подробностями, он окажется, действительно, предателем. Он уже не имел больше права на точные адреса — они пойдут по ним, будут действовать по его подсказке. Он зажмурился и несколько раз повторил про себя: «Просто — страна... Просто — страна... Страна — и все...»

Если не выдать место, у ребят еще будет шанс, подумал он. И, следовательно, будет шанс у нас всех.

Наконец картинка на мониторе высветилась.

## СТРАНА. ФЕВРАЛЬ

Сергей гнал «уазик» наискось через плац, мотая его зигзагами. Стреляли из окон второго этажа, видимо, из того помещения, которое когда-то было в этой казарме каптеркой.

Юра уже прилаживался со своим гранатометом, но нужно было высунуться с ним наружу, а из «уазика» это было невозможно — окна не открывались.

— Поворачивай кругом, — сказал Олейник. — Кругом и притормози, но совсем не останавливайся... Поворачивай...

— Озверел, что ли?! — заорал Сергей. — Куда кругом? Уходить? А бабы? Ты что?..

— Говорю, кругом, — повторил Олейник, уже перелезая через спинку в маленькое пространство между сиденьем и задним бортом. В руке его был офицерский швейцарский нож. Упершись ногами в борт, он выщелкнул лезвие. В зеркале Сергей увидел красную с белым крестиком рукоятку и сообразил. Круто, едва не опрокинув, развернул машину и, так же виляя, поехал назад. Затрещал под ножом Олейника брезент, вывалился квадратом, вместе с задним окном. Юра уже стоял коленями на заднем сиденье...

— Стой! — крикнул Олейник, и Сергей, словно ткнувшись в стену, затормозил. Юра высунулся со своей трубой по пояс. Из окна ударила длинная очередь, но одновременно с нею харкнул гранатомет. Сергей уже лежал с автоматом у левого заднего колеса на асфальте плаца и полосовал по замолчавшему окну без перерыва, на весь рожок. В окне мелькнул силуэт, Олейник выстрелил, держа «кольт» в двух руках, как в тире, — высунувшись вместо Юры в прорезанную дыру. Юра, с «калашниковым» в руках, стреляя на ходу, широкими шагами неся к входу в казарму. Из развороченного гранатой окна вывалился ручной пулемет, следом за ним, раскинув

руки, кувыркаясь, медленно выпала фигура в пятнистой форме...

В коридоре Олейник пнул первую же дверь ногой и отскочил за косяк. Из двери ударил автомат. Замолк. В полный рост встал Олейник в дверном проеме. В углу комнаты он увидел мальчишку в тельняшке, выламывающего из автомата заклинившийся пустой рожок. Олейник выстрелил, чуть приподняв ставший еще тяжелее обычного «кольт»...

Галя сидела на полу в следующей комнате, руки ее были пристегнуты наручниками к отопительной трубе. Окна здесь выходили на другую сторону, это было счастье, что они не догадались загородиться женщинами от нападения.

— Володенька, ты нашел меня? — Галя, улыбаясь, смотрела в сторону. — Я так тебе благодарна, ты знаешь, я так тебе благодарна...

Ничего нелепее этих слов Олейник не слышал в жизни. Они ее таки доконали, подумал он. Лучше бы кого-нибудь из них убить без выстрела, подумал он. Стрельба не утешает — только удар.

В комнате напротив была Юлька. Голову ей замотали простыней, руки связали обычным узким брючным ремнем из толстого брезента, ноги — бельевого веревкой. Сережка рубил ножом по узлам, сдирал простыню...

— Don't touch me, — сказала Юлька. — Listen, don't touch me. You see? Now and forever, don't touch me. Only I want — to kill somebody... Give me this one...

Неожиданно резко она вырвала из рук Сергея нож — длинный и узкий выщелкивающийся клинок в зеленоватой перламутровой ручке. Смотреть на нее было страшно — лицо синевато-серое без грима, нечистая кожа бугрится мелкими нарывами. Она шагнула в коридор, увидела лежащего на полу, хрипящего розовыми кровавыми пузырями парня в лейтенантских погонах на изорванном кителе — и, бросившись рядом с ним на колени, воткнула нож ему в шею, пробив длинным лезвием насквозь. У Сергея подкатило, он едва сдержал рвоту и едва собрал силы поднять ее.

Ютта и Конни бежали по коридору навстречу, она обняла Юру, и он почувствовал, что сон кончился и сейчас по телевизору начнут показывать викторину, а потом Конни пойдет спать, и Ютта предложит досмотреть передачу лежа, и принесет простыню и подушки на диван в гостиной, и стащит эту фуфайку через голову, и останется в одних старых, белых на коленях джинсах, и наклонится, чтобы поправить подушки, и он будет смотреть на нее... Она все прижималась к нему мягким,двигающимся под застиранной фуфайкой телом, и Юра едва заставил себя очнуться. Он отстранил ее, и Конни подошел и подал ему руку.

— Привет, Юра, — сказал Конни по-русски, — как дела?

Безумие, подумал Юра, это просто безумие, разве может быть так?

Он увидел Сергея, который тащил по коридору Юльку, Юлька упиралась, изо рта у нее бежала пена, она визжала отчаянно, без слов.

Он увидел Олейника, выводящего из комнаты в коридор пошатывающуюся пожилую женщину, и понял, что это и есть Галя, хотя седая грузная старуха выглядела даже рядом с сильно постаревшим за эти месяцы Олейником бабушкой.

И еще он увидел, как по плацу катят уступом три кургузых десантных танка, их башни ворочаются.

Это сон, подумал Юра, и сейчас он кончится.

Первым железную лестницу заметил Олейник. Медленно, слишком медленно — Галя задыхалась, Юльку пришлось тащить силой, она вырывалась — они поднялись на крышу. Собственно, это была не крыша, а третий этаж со снятыми потолочными перекрытиями и кровлей и сильно укрепленным полом — залитая гудроном площадка, окруженная глухими стенами высотой метра два с половиной.

Невидимый с земли, стоял здесь нелепо изящный Ми-4.

Сергей боялся, что без навыка все забылось, но навык остался. Все-таки нас неплохо учили, спецназ есть спецназ, подумал Сергей. Вертолет пошел косо вверх, и некоторое время их не видели с плаца. Когда плац открылся, Юра одну за другой бросил две гранаты — это были привычные, китайские, с которыми работали в блаженной памяти учебном центре. Возле одного из танков полыхнула лужа солярки...

— Я знал одного старика, — сквозь невыносимый грохот двигателя прокричал в ухо Юре Олейник. — Давно... Он умел их бить... Он говорил: если им в ответ стреляют, они теряются, понял? Они любят воевать с трусами... Они не готовы к ответу, поэтому у них и можно выиграть даже в безнадежной позиции...

Вертолет низко полз над лесочком. Внизу, у реки, были видны редкие яркие машины и безумные рыбаки-подледники, рассеявшиеся со своими сундучками на синеватом слабом льду.

#### 4

Ну и непрофессионально получается, усмехнулся седой. Вы ж гордились, что у вас с деталями полный порядок, а теперь... Я уж не говорю, что вы с оружием нахомутали. Проконсультировались бы, что ли, а то у вас не разберешь, где пулемет, где гранатомет. Сами-то небось кроме детских игрушек, ничего в руках не держали...

В комнате было невыносимо жарко, отопление работало во всю силу, да в широкое окно, выходящее в пустое снежное поле, шпарило удивительное даже для этих, всегда солнечных дней солнце. Седой расстегнул джинсовую рубаху, обнаружив толстую цепочку с массивным золотым крестом.

Я уж не говорю и об английском — ужас, у вас американская блядешка говорит на скул инглиш, да еще и с ошибками... Ладно, дело ваше, хотите позориться перед читателями и профессионалами — давайте. Но место нам нужно, ясно?! Место, додумайте место! Держитесь за свободу фантазии, сколько хотите, но место — это уже не фантазия, это наше дело. Вы ж себя считаете христианином, а скрываете убийц, наемников, которым все равно, кого пришить...

Сочинитель сидел на диване, глубоко всунувшись в угол этого обшарпанного казенного сооружения, слишком убогого в ярком свете, в шикарном загородном доме

— такие раскладные диванчики бывали обычно прежде в бедных профсоюзных пансионатах. Пепельница стояла на полу, он наклонился задавить продолжавший дымиться окурок, влез пальцами в кучу обгорелых и искореженных фильтров, пепла, почему-то влажного и пристающего к коже, — и вдруг обида, ненависть, бешеное отвращение залили, окрасили свет перед глазами красно-бурым, словно кровь прилила к голове.

Насчет английского и оружия вам виднее, вы ж и есть в этом профессионалы, сказал Сочинитель. Ну, перебьетесь, перетерпите, не для вашего брата писано, не инструкция, не устав. А с читателем как-нибудь столкнемся, опять же не ваша забота.

Что же вы хамить начинаете, перебил седой.

А ничего, не на приеме в цека, хуже не будет, сказал Сочинитель. Дрожь все не унималась, на мгновение захотелось просить, молить, уговаривать — ну что вы, честное слово, я же не сделал ничего, это выдумка, игра, развлечение, мой кусок хлеба, что вам моя игрушечная известность, мои убогие деньги, отпустите нас, немолодых, больных, слабых, нам и без того плохо, нам бы самим разобраться с собой и не погибнуть, друг друга не погубить... Представил себе театральную сцену — пасть ниц, обнимать ноги, — но сразу вспомнил давно вычисленное и решенное: сдаваться, выдавать бессмысленно, потому что того, кого уже начали пытаться, убьют все равно, не выпустят. Но если сдашься, умирать хуже... И, чтобы избавиться от соблазна, заговорил еще наглее.

А уж коли вы такие профессионалы, что вам стоит и самим вычислить, где все происходит? Что, у вас так много объектов с вертолетной площадкой на крыше?..

Да мать же твою так, заорал седой, в том и дело, что у нас их вообще нет, понял?! Вообще нет, это ты придумал, фантаст сраный!.. Придумай тогда и место, сука, придумай место, или я тебе...

Нет, сказал Сочинитель, не могу. Уже объяснял, еще раз объясню: если я придумаю место, я начну служить вам, вы ребят поубиваете. Значит, я стану такой же, как вы. Но такие, как вы, сочинить ничего не могут. У таких способность к сочинительству пропадает, ну неужели не понятно? И, значит, если я место придумаю, все равно вы там никого не найдете, потому что это уже будет придумано бездарью, вашим служащим. Вы мне за это можете генерала дать, а место не найдете, потому что я не смогу его придумать оживающим. Выдумка будет мертвая, понятно, черт бы вас взял, или нет? Ну, клепаная же ваша контора — такую простую вещь понять не можете! И мучаете людей, как всегда, без толку...

Хорошо, сказал седой и встал, мы вас не будем мучить. Наоборот, мы предоставим вам возможность общаться — всем троим. У нас здесь помещения соединены местным телевидением. Посмотрите на своих дам, они на вас...

Он вышел. Тут же включился монитор. Прежде чем осветился его экран, Сочинитель услышал неразборчивые крики, шум толпы, тихий треск автоматных очередей. Он закрыл глаза.

И тут же открыл их.

На экране было лицо Ольги. Крупно, во весь экран — бледное, серого бумажного цвета лицо. Лицо было мокрое, он подумал, что от слез, но камера отъехала, и он

понял, что от пота. Ольга сидела на стуле посреди очень маленькой комнаты без окон. Руки ее были заведены за спинку стула и там, видимо, связаны. У ног, пристегнутых к ножкам стула короткими ремнями, стоял докрасна раскалившийся рефлектор. Он понял, что Ольга сейчас задыхается в этой чудовищной жаре, в этой камерке, но крики толпы стали громче, и он тут же сообразил, что не духота была главной пыткой. Взгляд Ольги был неотрывно устремлен на стоящий в метре от нее такой же монитор, как и в его комнате. Шум шел от экрана.

Тут же голос за кадром пояснил: «Закрывать глаза или тем более уснуть она не может — ей введен возбуждающий препарат».

На экране того монитора картинка повторялась бесконечно, видимо, пленка была закольцована.

Солдат в толстой теплой куртке, в каске, косо и безобразно сидящей поверх ушанки, возникал в прожекторном дымном свете. Держа автомат за ствол, как дубину, он поднимал его высоко — и резко, коротко, рубящим оттягом опускал его на голову отступающей, упираясь спиной в толпу, женщины.

Усиленный, выделенный специальной аппаратурой, раздавался перекрывающий крики и стрельбу глухой стук удара.

И снова солдат поднимал автомат. Медлил секунду, выбирая, выискивая, куда ударить. И снова бил, бил, бил...

Выключите, сказала Ольга, и он не столько расслышал, сколько по ее губам разобрал это слово. Выключите телевизор, закричала она, крик был невыносим, потому что он никогда не слышал, чтобы она так кричала: открытой глоткой, как кричат простые бабы в родилке. Выключите, пусть будет жара, но выключите это, выключите, просила Ольга, и не слезы, а пот катился по ее серым щекам.

Он шагнул к монитору, ткнул кнопку, но экран не погас.

Просто сменилась картинка.

Любовь сидела в другой комнате, так же пристегнутая к стулу. Рядом со стулом стояли ее сапоги, один, со свалившимся набок голенищем, выглядел убитым, мертвым. Ее босые ступни — коротенькие, как бы квадратные ступни, как у деревенских девчонок, легко и ловко ходивших босиком по колкому и смеявшимся над ним, неженкой, с тихим ойканьем поджимавшим ногу над случайным камешком или веткой, — ее ступни, которые, откидываясь, она ставила ему на грудь, гладила ими, сейчас стояли на ледяном крошечке, наваленном в эмалированный таз. Ноги были низко, за самые щиколотки, пристегнуты к ножкам стула, их невозможно было приподнять ни на миллиметр, но она и не пыталась. Голос она, видимо, потеряла уже давно. Откидывая слипшиеся, потускневшие волосы неловким, птичьим движением головы, она широко открытыми глазами смотрела на свой экран.

Солдат бил женщину.

Любовь беззвучно открыла рот. Камера подъехала так близко, что он увидел высохшие потеки на ее щеках — слезы уже кончились.

Услужливый голос за экраном сказал: «Сейчас специальная аппаратура усилит ее шепот».

Этого не было, услышал хрип Сочинитель, этого не было. Люди не могут так. Я не верю, этого не было, не было, не было. Выключите же эту ложь, ради Христа, выключите. Я не верю, этого не было.

Он встал, снял трубку телефона. Соедините меня с Игорем Леонидовичем, сказал он, срочно. В трубке щелкнуло, раздались короткие гудки.

Тут же седой сам появился в приоткрывшейся двери. Не входя в комнату, он прислонился к косяку. Можете выбрать, сказал он, одной из них мы сейчас выключим изображение, только скажите какой... Ну и холод, конечно, уберем. Или тепло? Выбирайте быстрее, каждый человек должен уметь выбирать, когда приходит время. Выбирайте — и вместе с выбранной мы вас отпустим, черт с вами, езжайте к своим ценителям куда-нибудь в Калифорнию — все равно от вас здесь только вред. Сами с вашими подонками разберемся. Ну, значит, Любовь?..

Нет, сказал Сочинитель.

Ну и правильно, сказал седой. Баба бабой, а жена — это серьезно. Да и нам удобней. Любочка-то ваша и сама кое-что знает, может, и подскажет нам, что вы там в нежном бреде в постели болтали... Что ж, забирайте супругу...

Нет, сказал Сочинитель.

Не понял, сказал седой.

Я был готов к выбору, сказал Сочинитель. Если бы вы больше читали и хоть что-нибудь понимали из прочитанного...

Седой дернулся, но Сочинитель остановил его, подняв руку, и седой промолчал.

...Вы бы догадались, что я готов к выбору. Правда, вы усложнили ситуацию — учитеесь... Но все равно — выбор возможен. Не их, понимаете, не их, а меня! Меня. Что хотите. Это не имеет значения. Бог даст, потерплю недолго. Все-таки пьянство пригодится, сердчишко долго не выдержит...

Ни хера не понимаю, сказал седой, что вы предлагаете. Что значит — меня?

Пытайте меня, сказал Сочинитель. Меня, ясно? Вы думали, что вид их мучений заставит меня согласиться на ваши условия? Вы ошибаетесь. Один писатель это доказал. Приходит время, и человек кричит — ее, а не меня! Чужая боль не может быть своей, даже если мучают любимую. Отпустите их и принимайтесь за меня, если хотите чего-нибудь добиться. А там посмотрим...

Понял... Седой вошел в комнату, сел, ногой пододвинул стул и захохотал. Понял, значит. Понял! Ну что ж, мы с вами одно читаем, зря вы нас тупицами держите... И вы думаете таким образом нас обдурить? На авторитет ссылаетесь? Нет, ничего не выйдет у вас, уважаемый лирический герой... Пальцем не тронем, слышите? Пальцем не тронем. А вот дамочек ваших обеих — раз вы ни одну выручить не хотите — на просмотре оставим. Дамочки чувствительные, вам на их реакцию смотреть удовольствие будет небольшое. А надоест им этот наш сюжет, притерпятся — имеются еще пленочка-другая, поинтереснее. Кое-что друзья наши на Востоке записали, кое-что в Африке... С детишками есть любопытные кадры...

Я не могу выбрать, сказал Сочинитель. Если бы я освободил одну из них, я бы стал хуже, чем вы. Это невозможно, Сочинитель не способен, поймите же это, сделать

такой выбор. Даже если бы очень хотел. Если я освобожу ее такой ценой, у нас уже все равно больше никогда ничего не будет, мы не сможем ни быть вместе, ни просто жить. Что вы, честное слово, делаете вид, что не понимаете, все вы прекрасно понимаете...

Что ж, сказал седой, возобновим показ.

Сочинитель повернулся к экрану.

Ольга выглядела здоровой. Рефлектора у ее ног не было, в комнате обнаружилось приоткрытое окно, легкий сквознячок шевелил ее волосы.

Голос за кадром пояснил: «Ей ввели средство, регулирующее дыхание, ее физическое состояние пришло в норму».

На экране монитора в Ольгиной комнате появилась картинка, и Сочинитель узнал себя. Он стоял на краю тротуара, поднимая руку перед каждой проходящей машиной. Он помнил этот день... И знал, куда поедет, поймав наконец такси в Охотном.

Вы, конечно, снимали и дальше, сказал он. А как вы думаете, ответил седой. Вот теперь, в реальном времени, час за часом, супруга ваша ознакомится с времяпрепровождением мужа. Сочувствую бедной женщине...

Сочинитель ткнул кнопку переключателя.

Любовь сидела в глубоком кресле, поджав, подвернув под себя ноги. На ногах у нее были толстые, крестьянской вязки, буро-белые носки, горло замотано пуховым серовато-бежевым платком. Он подарил его в прошлом году, когда она впервые потеряла голос после легкой простуды и страшно перепугалась... На экране ее монитора был пляж. Огромное песчаное пространство, невысокие дюны, корни сосен, выползающие из песка, словно подземные жители, пробирающиеся к морю. По пустому пляжу издали брели две маленькие фигурки, пара шла обнявшись, это мешало им идти нормально — у них будто ноги заплетались... Пока узнать мужчину было нельзя. Но он помнил этот пляж, эти сосны, этот жаркий день — кажется, уже десять лет назад.

Она ведь знает мою жизнь, сказал Сочинитель. Вы не откроете ей глаза, я не скрывал от нее семью. Одно дело знать, другое — увидеть подробности, сказал седой. Любочка ваша — женщина эмоциональная, ревнивая, картинок не стерпит. А вам желаю интересных наблюдений. Переключатель в ваших руках, так что выбор, хоть и не такой важный, вам все равно предстоит сделать, никуда не денетесь. Либо на одну смотреть, на страдания ее, либо на другую... Выберете, конечно, ту, которой сочувствуете меньше, чтобы самому меньше страдать, — вот и предали обеих, вот и готовы. И езжайте себе тогда в свободный ваш мир, творите дальше. Посмотрим, что вы тогда натворите, после такого выбора... Ну, пока.

Седой встал, чуть потянулся, расправляя грудь, передернул плечами — не холодно вам? А то сейчас еще подтопим — и шагнул к двери.

Все, сказал Сочинитель, быстро выключите их мониторы, я сдался. Выключите немедленно, слышите?! Совсем. И никаких кошмаров больше, и никаких сплетен заснятых, немедленно! И я придумаю место. Я сам ведь придумал для вас эту схему — выбор, предательство, попытка выбором, — потому что давно хотел поспорить с тем, кто сказал: ее, а не меня. Я надеялся... Но все оказалось слишком живым для схемы, и я сдаюсь — я придумаю место.

Он нажал переключатель.

Экран в комнате Ольги погас, она подошла к окну, открыла его шире.

Он нажал переключатель.

Любовь его спала, свернувшись в кресле. Волосы свесились, легли на руку, которую она неловко подсунула под щеку, и было видно, что у корней они темнее — отросли... По экрану ее монитора бежали искры и полосы — без изображения.

Когда же вы придумаете место, спросил седой. Видите, мы уже выполнили условие. Через пару дней ваши женщины будут в полном порядке. Так что за вами долг, вы должны назвать место...

Она не одна, сказал Сочинитель, верните ей семью.

Можете проверить, это уже сделано, мы не деревянные, мы тоже кое-что понимаем, сказал седой.

Сочинитель снова посмотрел на свой экран.

Мужчина и девочка входили в ее комнату именно в эту секунду. Ника бросилась к креслу, и, не просыпаясь, женщина обняла дочь. Андрей стоял рядом, неловко пряча руки в карманы. Она обнимала Нику и, еще не проснувшись, вяло откидывая волосы, из-под лба взглянула на мужа. Привет, сказала она, как вы меня разыскали? Позвонили, сказали, что ты снимаешься в какой-то странной передаче, что-то важное, и поэтому тебя можно повидать только здесь. Прислали машину, Ника проснулась, я решил, что ее можно взять, раз случай такой особенный...

Ну, сказал седой, вы убедились, что мы выполняем условия? Когда же вы назовете место?

Есть еще одно условие, начал Сочинитель, это касается Ольги, она не может...

Знаю, перебил седой, можете убедиться.

Он нажал переключатель.

Ольга сидела на корточках, перед нею на спине лежала такса, ее длинное тело изображало счастье. Рядом сидела кошка, глядя на таксу сверху вниз, снисходительно.

Это наша старая собака, она умерла восемь лет назад, сказал Сочинитель, как вам это удается, не понимаю.

Да ну, такая мелочь по сравнению с вашими возможностями, сказал седой. Нам приходится придумывать, как сделать вам приятное, слишком серьезно мы зависим от вас. Впрочем, если вы говорите, что эта собака мертвая, надо учесть...

Нет, сказал Сочинитель, хватит. Я уже могу назвать место. И даже время тоже. Вы слушаете?

Конечно, сказал седой. Мы готовы.

Надеюсь, что нет, сказал Сочинитель, надеюсь, что вы не готовы. И это будет конец, вы проиграете. Вы проиграете почти наверняка, потому что это здесь. Здесь. Здесь.

И сейчас. Сейчас. Сию минуту. В этот миг.

Здесь и сейчас, сказал Сочинитель.



## ЗДЕСЬ. СЕЙЧАС

Один за другим, быстро увеличиваясь, шли вниз «апахи». Они зависали метрах в двух от земли, винты поднимали тучи не то снега, не то песка, а из дверей уже сыпались здоровые ребята — были и девушки, эмансипированная армия не оставляла сомнений в своей принадлежности — в камуфляжных куртках, в туго шнурованных ботинках с узкими голенищами, десантных jump-boots, карманы по бокам штанов раздувались запасными обоймами, антидотами, готовыми к еде полевыми завтраками, казенными евангелиями и молитвенниками всех представленных в войсках религий. Глубоко надвинутые каски в матерчатых чехлах скрывали лица, но все равно было заметно много темнокожих.

И, держа наперевес свои вечно несущие благодать М-16, они сразу припускались бегом к цели. Стреляя на ходу, припадая на минуту на колено, чтобы разрядить базуку, скаля зубы, покрытые у полкового дантиста на очередном приеме фтористым лаком.

Впереди бежали люди super team, добровольцы и проводники.

Бежал Олейник. Штатная винтовка была заброшена на спину, а в руке капитан держал любимый свой «кольт» и не торопился стрелять. Все тот же голос твердил ему: «Спокойно, Вовка, спокойно, сейчас тебя не убьют, и не торопись стрелять, еще успеешь... Главное — бежать быстро...»

Бежал справа от него Сергей — в майке светлого цвета хаки, так идущего к его веснушчатой коже, без каски, с забранными снова в pony-tail рыжими кудрями. И он тоже пренебрег казенным оружием — шпарил из польской малютки РМ-63, больше пригодной для гангстерского налета, чем для боя, — дико матерясь на четырех языках. Я вам, сукам рваным, fuck your mothers, покажу, что такое русский жиголо, я вам покажу трахальщика, я вас трахну — кончите на раз!..

Юлька бежала на шаг сзади. Винтовку она просто оставила в вертолете — тяжела — и бежала с голыми руками. Только выкидной нож болтался в правом наколенном кармане... Уже окровавленный ею клинок был убран, но она знала, что теперь она сможет ударить — и не закроет глаза.

Слева от Олейника бежал Юра. Бежать с привычным своим оружием он долго не мог — рухнул наземь, прицелился — и шипящий звук ушедшей к цели гранаты отметил его участие в атаке. Не то снег, не то песок запорошил ему глаза, он потерял их и начал перезаряжать гранатомет.

Конни лежал рядом. Аккуратно установив, крепко уперев в плечо приклад, он нажимал спуск калашниковского ручного пулемета. Держал он его удивительно твердо для силенок пятнадцатилетнего пацана.

А сзади уже накатывали изломанными шеренгами танки, и в одном из них, у рации, сидела Ютта. Грязный пот тек по ее лицу, насквозь промокла майка, и в какую-то секунду, расслабившись, она едва не выбила себе зубы, когда танк швырнуло на остатках бетонного заграждения. Но обошлось — она только потрясла головой, чтобы избавиться от звона в ушах.

И уже разворачивался за танковыми волнами полевой госпиталь, и Галя бежала

рядом с носилками, на которых лежал раненный в обе ноги огромный, голый по пояс негр, бежала, высоко поднимая колбу, из которой по тоненькому шлангу стекала в негритянскую вену консервированная кровь. И на бегу она изумлялась — одышки не было совершенно. В ее-то годы!..

Утром она умылась и гладко причесалась, не глянув в зеркало. И потому не знала, что за ночь вернулась пигментация, и ее волосы потемнели. В принципе такого не бывает, но как чудо — возможно.

А над головами атакующих, над танковыми колоннами, над штабными машинами, ошестинившимися длинными гибкими антеннами, над подвижными стартами противотанковых ракетных снарядов проносились «миражи», и где-то впереди с далеким грохотом распускались цветные павлиньи хвосты ракетных разрывов.

И все спускались и спускались вертолеты, все прыгали и прыгали на не то снег, не то песок солдаты...

И откуда-то сверху, над вертолетами и даже над треугольными мгновенными тенями самолетов, гремела, перекрывая взрывы и стрельбу, музыка — «American patrol» в вечнозеленом миллеровском исполнении.

## 5

— Выключи звук, — сказал лысый.

Генерал отодвинул на всю длину руки от старческих дальнозорких глаз пульт дистанционного управления, поискал кнопку, прижал.

Звук исчез. В полной тишине по гигантскому экрану стоящего посреди бункера телевизора продолжали бежать, целиться, полосовать очередями пятнистые солдаты, в тишине летели самолеты, мчались, взлетая на холмы и проваливаясь в складки не то снега, не то песка, танки, снижались вертолеты — в тишине...

— Похоже, что возьмут они нас, как детсадовцев, — сказал седой.

— Вы сами требовали придумать место, и не моя вина, что оно так придумалось, — сказал Сочинитель.

— Заткнулся бы ты, писатель херов... — рыкнул генерал, но седой не дал ему разойтись на продолжение реплики.

— Творцом себя, значит, мните, креатором, — усмехнулся он, поворачиваясь в вертящемся кресле к Сочинителю. Все в бункере сидели в таких креслах, расставленных в несколько полукруглых рядов перед телевизором. Тихонько гудел кондиционер, дул легкий сквознячок, и было точное ощущение начальственного просмотра где-нибудь на даче в Пицунде или Крыму — впрочем, это и был просмотр...

— А он и есть творец, — вызывающе сказала Любовь, и Сочинитель дернулся: он терпеть не мог, когда женщина вступалась за него. — Он и есть творец, в чем вы вполне теперь и убедились...

Ольга молчала, смотрела в сторону. У ног ее сидели такса и кошка. Андрей с каменным, мертвым лицом курил, не глядя давил в пепельнице окурки, неотрывно смотрел на экран. Ника задремала, свернувшись в кресле — точно материнской манерой.

— Творе-ец, — иронически протянул седой. — Так себе, творец-то... Хоть с имен начать. Сочинитель и Любовь... Ничего не напоминает, а? Это уже и не эпигонство даже, а прямой плагиат... Да и сама любовь придумана тоже не очень. Постель, постель, постель... Трахаются с деталями весьма выразительными, не откажешь. А больше ведь ничего и нет, согласитесь. Женщина совершенно ходульная получилась, по облакам эротическим ступает, а у нее, между прочим, дочь, муж, дел невпроворот, семейство, хлопоты, посуды немытой к вечеру полная раковина... Уж не говорю о других персонажах — тени, статисты...

— Много требуете от сказки, господин рецензент, — сказал Сочинитель. — Конечно, самое последнее дело — собственное сочинение оправдывать, но замечу: вам как критику разница между романтическим сном и психологической бытовой прозой должна быть понятна.

— Ладно, — согласился седой, — пусть романтика. Хотя хороша романтика с минетом и всем прочим... Волосы непотребные описывать — вот и вся ваша романтика. Да стрельба, как в паршивом видешике... Ладно. Лучше поговорим о главном. Значит, вы считаете, что достаточно нам было напугать его неудачным покушением, чтобы он всю страну в свой страх поверг? Легко вы историей распоряжаетесь. По-детски. Или по-сочинительски, что одно и то же. А вот я, да и любой серьезный человек, вам так скажем, — тут он слегка двинул рукой в сторону лысого, чтобы дать понять, кто серьезный человек, — так скажем: он и без нашего напоминания, без ваших террористов двинулся бы в эту же сторону, ясно? Потому что есть такое понятие: историческая необходимость. Вам, конечно, как махровому идеалисту, чуждое... Так вот — в силу этой самой необходимости не мог он быть другим. И рано или поздно за ум взялся бы... Без нас власти нет, потому что мы — сила. Мы, собственно, и есть только сила, такова наша сущность — сила, и все. А власти нет без силы, а его нет без власти... Вот и цепочка. И никаких приключений не требуется. Так что зря мы за вашим Сюжетом пошли. Особенно Ване он понравился — стрельба... Ну, с генерала-то что возьмешь? Но вы...

— Сила, необходимость... — Сочинитель потянулся прикурить, и Андрей, не глядя, автоматическим жестом передал ему зажигалку. — Вот вы-то и есть идеалисты, господа материалисты. Чепуха все это... Есть известное человеческое качество — трусость. Никакой это не идеализм, а натуральнейшая реальность. Струсил он... А самый страшный человек — напуганный человек. На все пойдет, тормоза забудет...

— Поначалу вы и нас в этом убедили. — Седой пожал плечами. — А теперь я, во всяком случае, ясно вижу, что все это не имело значения. И если вы с вашими друзьями, — он ткнул в сторону экрана, по которому приближалась атака, — сейчас нас перестреляете, ничего не изменится. Логика такова, что...

— Кто кого перестреляет, сейчас решим, — раздался голос лысого. Он вдруг оказался стоящим перед телевизором и закрывающим беззвучный экран. В руках его был короткоствольный «калашников». Вечный желтый огонь вспыхнул и тут же погас в остановившихся глазах. — Сам говорил, писатель, что у нас собственная воля есть?

Ну, вот и пришло время для нее... Конец твоему Сюжету. И тебе вместе с твоими бабами...

Сочинитель встал и сделал шаг к лысому. Тут же со своего места поднялась и подошла к нему Ольга, крепко взяла за плечо.

— Отойди, — сказал Сочинитель.

— Нет, — сказала Ольга, — я так решила.

И Любовь уже стояла, положив руку на другое его плечо.

— Красиво, но удивительно пошло, — сказал седой.

— Молчи, нежить, — сказал Сочинитель.

Лысый поднял автомат.

В стене позади него разошлись раздвижные двери, открыв кабину большого лифта.

Там были все.

И все с оружием.

Первым поднял «кольт» Олейник. Падая вперед лицом, лысый успел нажать спуск, но вся очередь ушла в пол, прошив частой строчкой голубой китайский ковер.

— Ну, — сказал Сочинитель, — вот... И в конце концов все обошлось, я же говорил. Все будет хорошо, вот увидите...

— Где? — спросила Ольга. — Где же нам будет хорошо? Где же? Скажи...

— Там, — сказал Сочинитель и махнул рукой, — там...

— И когда? — спросила Любовь. — Когда? Доживем? Я хочу дожить! Сделай, чтобы я дожидала!.. Ну, когда?

— Тогда, — сказал Сочинитель, — точнее не знаю. Тогда... Там и тогда. Во всяком случае, это справедливо для меня: здесь и сейчас я всегда несчастлив, а там и тогда мне всегда хорошо. Было хорошо, будет хорошо... Только в другом времени, только в ином месте... Там и тогда.

## ТАМ. ТОГДА

Самолет шел над облаками, солнце наполняло салон, и ему казалось, что все это уже когда-то было — ощущение, часто посещающее многих... В салоне было шумно, как бывает шумно в самолетах и автобусах, заполненных сплошь знакомыми, но давно не видавшимися людьми, — какая-нибудь профессиональная делегация или туристская группа... Такса с лаем бегала по проходу, удивительно растеряв свойственную породе солидность.

Кое-кто дремал, просыпался, опять дремал...

Пары сидели обнявшись.

Сочинитель сидел один на крайнем кресле первого ряда, прямо у шторки, закрывающей проход к кабине.

Да, все-таки когда-то это уже было, думал он — такой самолет, битком набитый всеми моими... Или, может, я когда-то это уже придумывал...

Внизу должен быть остров, думал он, камни, море, пальмы и сосны, мраморные прохладные полы в гостиных, бараны с большими колоколами, вечером в маленьком ресторане паэлья с дюжиной разных моллюсков и красное вино с фруктовым соком... как оно-то называется... забыл...

Из-за шторы появилась стюардесса.

— Прошу всех застегнуть ремни и не курить, — сказала она. — В связи с тем, что место для посадки нашего самолета еще не выбрано... — она быстро, но с явным укором покосилась на Сочинителя, — мы приземляемся на Московской кольцевой автодороге. Прошу всех сохранять спокойствие. Движение по трассе перекрыто службами ГАИ, посадка будет происходить в условиях полной безопасности. В Москве плюс три, солнечно. Благодарю за внимание.

## 6

Да, кино получилось, я не спорю, сказала она. Лучше, чем я ожидала, хотя стрельбы все равно много... И эта, в роли меня... Все-таки она играла героиню, иначе не смогла... Но все вместе вышло ничего, особенно к концу, когда уже понятно, что мы не погибнем, и все становится действительно интересно... И про него ты объясняешь, мне кажется, правильно... Ты молодец, ты мой милый сочинитель и выдумщик... Плохо только, что ты все выдумал насчет счастья... Там и тогда... Где это там?! И когда это тогда?

Я ничего не выдумал, сказал он. Даже в газетах написано: в Москве никогда не было такой ранней, дружной и солнечной весны.